КНИГИ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

Константин Паустовский

КОТ-ВОРЮГА

Рассказы и сказки



эксмодетство

Кот-ворюга. Рассказы и сказки

Константин Георгиевич Паустовский

Аннотация
Константин Паустовский. Кот-ворюга. Рассказы и сказки
Сказки
- Тёплый хлеб
- Стальное колечко
- Дремучий медведь
- Похождения жука-носорога
- Заботливый цветок
- Растрёпанный воробей

Рассказы и повесть
- Барсучий нос
- Заячьи лапы
- Последний чёрт
- Золотой линь
- Кот-ворюга
- Подарок
- Жильцы старого дома
- Корзина с еловыми шишками
- Мещёрская сторона. (повесть)
  - Обыкновенная земля

- Первое знакомство
- Старинная карта
- Несколько слов о приметах
- Возвращение к карте
- Мшары
- Лесные реки и каналы
- Леса
- Луга
- Небольшое отступление от темы
- Ещё о лугах
- Старики
- Родина талантов
- Мой дом
- Бескорыстие

Резиновая лодка
Струна
Томик Пушкина

Аннотация

В сборник вошли самые известные произведения К. Г. Паустовского: «Заячьи лапы», «Резиновая лодка», «Кот-ворюга», «Стальное колечко», «Тёплый хлеб», «Барсучий нос» и многие другие.

Эти истории помогают увидеть красоту и хрупкость природы, учат доброте, внимательности и заботливому отношению к окружающему миру.

Константин Паустовский
Кот-ворюга. Рассказы и сказки

© Паустовский К. Г., текст, наследники, 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026
Иллюстрации Александра Кардашука



* * *

Сказки

Тёплый хлеб

Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушёл дальше, пыля и позванивая удилами, — ушёл, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.

Коня взял к себе мельник Панкрат. Мельница давно не работала, но мучная пыль навеки въелась в Панкрата. Она лежала серой коркой на его ватнике и картузе. Из-под картуза посматривали на всех быстрые глаза мельника. Панкрат был скорый на работу, сердитый старик, и ребята считали его колдуном.

Панкрат вылечил коня. Конь остался при мельнице и терпеливо возил глину, навоз и жерди — помогал Панкрату чинить плотину.

Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольной ботвы, или чёрствого хлеба, или, случалось даже, сладкую морковку. По деревне говорили, что конь ничей,

а вернее общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь — раненый, пострадал от врага.

Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька, по прозвищу Ну тебя. Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!» Предлагал ли ему соседский мальчишка походить на ходулях или поискать позеленевшие патроны, Филька отвечал сердитым басом: «Да ну тебя! Ищи сам!» Когда бабка выговаривала ему за неласковость, Филька отворачивался и бормотал: «Да ну тебя! Надоела!»

Зима в этот год стояла тёплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и тотчас таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга. Около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла чёрная, тихая, и в ней кружились льдинки.

Панкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб, — хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось у каждой на два-три дня, а зерно лежит немолотое.

В один из таких тёплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за

столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью.

Филька нехотя встал, вышел за калитку. Конь переступил с ноги на ногу и потянулся к хлебу.

— Да ну тебя! Дьявол! — крикнул Филька и наотмашь ударил коня по губам.

Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька закинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал:

— На вас не напасёшься, на христарадников! Вон твой хлеб! Иди, копай его мордой из-под снега! Иди, копай!

И вот после этого злорадного окрика и случились в Бережках те удивительные дела, о каких и сейчас люди говорят, покачивая головами, потому что сами не знают, было ли это или ничего такого и не было.

Слеза скатилась у коня из глаз. Конь заржал жалобно, протяжно, взмахнул хвостом, и тотчас в голых деревьях, в изгородях и печных трубах завыл, засвистел пронзительный ветер, вздул снег, запорошил Фильке горло. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца — так уже мело кругом и хлестало в глаза. Летела по ветру мёрзлая солома с крыш, ломались скворечни, хлопали оторванные ставни. И всё выше взвивались столбы снежной пыли с окрестных

полей, неслись на деревню, шурша, крутясь, перегоняя друг друга.

Филька вскочил наконец в избу, припёр дверь, сказал: «Да ну тебя!» — и прислушался. Ревела, обезумев, метель, но сквозь её рёв Филька слышал тонкий и короткий свист — так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьёт им себя по бокам.

Метель начала затихать к вечеру, и тогда только смогла добраться к себе в избу от соседки Филькина бабка. А к ночи небо зазеленело, как лёд, звёзды примёрзли к небесному своду, и колючий мороз прошёл по деревне. Никто его не видел, но каждый слышал скрип его валенок по твёрдому снегу: слышал, как мороз, озоруя, стискивал толстые брёвна в стенах, и они трещали и лопались.

Бабка, плача, сказала Фильке, что наверняка уже замёрзли колодцы и теперь их ждёт неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна.

Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из подпола и хорониться под печкой в соломе, где ещё оставалось немного тепла. «Да ну вас! Проклятые!» — кричал он на

мышей, но мыши всё лезли из подпола. Филька забрался на печь, укрылся тулупчиком, весь трясся и слушал причитания бабки.

— Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз, — говорила бабка. — Заморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня леса и сады. Десять лет после того не цвели ни деревья, ни травы. Семена в земле пожухли и пропали. Голая стояла наша земля. Обегал её стороной всякий зверь — боялся пустыни.

— Отчего же стрясся тот мороз? — спросил Филька.

— От злобы людской, — ответила бабка. — Шёл через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба, а хозяин, злой мужик, заспанный, крикливый, возьми и дай одну только чёрствую корку. И то не дал в руки, а швырнул на пол и говорит: «Вот тебе! Жуй!» — «Мне хлеб с полу поднять невозможно, — говорит солдат. — У меня вместо ноги деревяшка». — «А ногу куда девал?» — спрашивает мужик. «Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии», — отвечает солдат. «Ничего. Раз дюже голодный — подымешь, — засмеялся мужик. — Тут тебе камердинеров нету». Солдат покряхтел, изловчился, поднял корку и видит — это не хлеб, а одна

зелёная плесень. Один яд! Тогда солдат вышел на двор, свистнул — и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, а потом ударил лютый мороз. И мужик тот помер.

— Отчего же он помер? — хрипло спросил Филька.

— От охлаждения сердца, — ответила бабка, помолчала и добавила: — Знать, и нынче завёлся в Бережках дурной человек, обидчик, и сотворил злое дело. Оттого и мороз.

— Чего ж теперь делать, бабка? — спросил Филька из-под тулупа. — Неужто помирать?

— Зачем помирать? Надеяться надо.

— На что?

— На то, что поправит дурной человек своё злодейство.

— А как его исправить? — спросил, всхлипывая, Филька.

— А об этом Панкрат знает, мельник. Он старик хитрый, учёный. Его спросить надо. Да неужто в такую стужу до мельницы добежишь? Сразу кровь остановится.

— Да ну его, Панкрата! — сказал Филька и затих.

Ночью он слез с печи. Бабка спала, сидя на лавке. За окнами воздух был синий, густой,

страшный. В чистом небе над осокорями стояла луна, убранная, как невеста, розовыми венцами.

Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Снег пел под ногами, будто артель весёлых пильщиков пилила под корень берёзовую рощу за рекой. Казалось, воздух замёрз и между землёй и луной осталась одна пустота — жгучая и такая ясная, что если бы подняло пылинку на километр от земли, то и её было бы видно и она светилась бы и мерцала, как маленькая звезда.

Чёрные ивы около мельничной плотины поседели от стужи. Ветки их поблёскивали, как стеклянные. Воздух колол Фильке грудь. Бежать он уже не мог, а тяжело шёл, загребая снег валенками.

Филька постучал в окошко Панкратовой избы. Тотчас в сарае за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корточки, затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу.

— Садись к печке, — сказал он. — Рассказывай, пока не замёрз.

Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню мороз.

— Да-а, — вздохнул Панкрат, — плохо твоё дело! Выходит, что из-за тебя всем пропадать. Зачем коня обидел? За что? Бессмысленный ты гражданин!

Филька сопел, вытирал рукавом глаза.

— Ты брось реветь! — строго сказал Панкрат. — Реветь вы все мастера. Чуть что нашкодил — сейчас в рёв. Но только в этом я смысла не вижу. Мельница моя стоит, как запаянная морозом навеки, а муки нет, и воды нет, и что нам придумать — неизвестно.

— Чего же мне теперь делать, дедушка Панкрат? — спросил Филька.

— Изобрести спасение от стужи. Тогда перед людьми не будет твоей вины. И перед раненой лошадью — тоже. Будешь ты чистый человек, весёлый. Каждый тебя по плечу потреплет и простит. Понятно?

— Понятно, — ответил упавшим голосом Филька.

— Ну, вот и придумай. Даю тебе сроку час с четвертью.

В сенях у Панкрата жила сорока. Она не спала от холода, сидела на хомуте — подслушивала. Потом она боком, озираясь, поскакала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на периль-

ца и полетела прямо на юг. Сорока была опытная, старая и нарочно летела у самой земли, потому что от деревень и лесов всё-таки тянуло теплом и сорока не боялась замёрзнуть. Никто её не видел, только лисица в осиновом яру высунула морду из норы, повела носом, заметила, как тёмной тенью пронеслась по небу сорока, шарахнулась обратно в нору и долго сидела, почёсываясь и соображая: куда ж это в такую страшную ночь подалась сорока?

А Филька в это время сидел на лавке, ёрзал, придумывал.

— Ну, — сказал наконец Панкрат, затаптывая махорочную цигарку, — время твоё вышло. Выкладывай! Льготного срока не будет.

— Я, дедушка Панкрат, — сказал Филька, — как рассветёт, соберу со всей деревни ребят. Возьмём мы ломы, пешни, топоры, будем рубить лёд у лотка около мельницы, покамест не дорубимся до воды и не потечёт она на колесо. Как пойдёт вода, ты пускай мельницу! Провернёшь колесо двадцать раз, она разогреется и начнёт молоть. Будет, значит, и мука, и вода, и всеобщее спасение.

— Ишь ты шустрый какой! — сказал мельник. — Подо льдом, конечно, вода есть. А ежели лёд толщиной в твой рост, что ты будешь де-

лать?

— Да ну его! — сказал Филька. — Пробьём мы, ребята, и такой лёд!

— А ежели замёрзнете?

— Костры будем жечь.

— А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут: «Да ну его! Сам виноват — пусть сам лёд и скалывает»?

— Согласятся! Я их умолю. Наши ребята — хорошие.

— Ну, валяй, собирай ребят. А я со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы да возьмутся за ломы.

В морозные дни солнце восходит багровое, в тяжёлом дыму. И в это утро поднялось над Бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лёд у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и тёплый ветер. А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли и весело, гулко зашумела за рекой мокрая берёзовая роща. В воздухе запахло весной, навозом.

Ветер дул с юга. С каждым часом становилось всё теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застрех и снова обсыхали на трубах, толкались, каркали.

Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лёд начал оседать, работа у мельницы пошла быстро и показалась первая полынья с тёмной водой.

Мальчишки стащили треухи и прокричали «ура». Панкрат говорил, что если бы не тёплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лёд ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала, но никто, кроме ворон, её не понял. А сорока рассказывала, что она долетела до тёплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудила его, натрещала ему про лютый мороз и упросила его прогнать этот мороз, помочь людям.

Ветер будто бы не осмелился отказать ей, сороке, и задул, понёсся над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом. И если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит-журчит тёплая вода, моет корни брусники, ломает лёд на реке.

Всем известно, что сорока — самая болтливая

птица на свете, и потому вороны ей не поверили — покаркали только между собой, что вот, мол, опять завралась старая.

Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока или всё это она выдумала от хвастовства. Одно только известно, что к вечеру лёд треснул, разошёлся, ребята и старики нажали — и в мельничный лоток хлынула с шумом вода.

Старое колесо скрипнуло — с него посыпались сосульки — и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее, ещё быстрее, и вдруг вся старая мельница затряслась, заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно.

Панкрат сыпал зерно, а из-под жёрнова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в неё озябшие руки и смеялись.

По всем дворам кололи звонкие берёзовые дрова. Избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто. И всё, что было живого в избах — ребята, кошки, даже мыши, — всё это вертелось около хозяек, а хозяйки шлёпали ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались.

Ночью по деревне стоял такой запах тёплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу

капустными листьями, что даже лисицы вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба.

На следующее утро Филька пришёл вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи и не давал им ни на минуту перевести дух, и потому по земле неслись вперемежку то холодные тени, то горячие солнечные пятна.

Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николка держал деревянную солонку с крупной жёлтой солью.

Панкрат вышел на порог, спросил:

— Что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги?

— Да нет! — закричали ребята. — Тебе будет особо. А это раненому коню. От Фильки. Помирить мы их хотим.

— Ну что ж, — сказал Панкрат. — Не только человеку извинение требуется. Сейчас я вам коня представлю в натуре.

Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал — учуял запах свежего хлеба. Филька разломил буханку, посолил хлеб из солонки и протянул коню. Но конь хлеба не взял, начал мелко перебирать

ногами, попятился в сарай. Испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята зашептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал:

— Не пужайся, Мальчик! Филька — не злой человек. Зачем же его обижать? Бери хлеб, мирись!

Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял наконец хлеб из рук Фильки мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал Фильку и взял второй кусок. Филька ухмылялся сквозь слёзы, а конь жевал хлеб, фыркал. А когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза от сытости и удовольствия.

Все улыбались, радовались. Только старая сорока сидела на раките и сердито трещала: должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто её не слушал и не понимал, и сорока от этого сердилась всё больше и трещала как пулемёт.

Стальное колечко

Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке Моховое, у самого леса.

Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом. За всю зиму ни разу не потеплело и не закапала с тесовых крыш суетливая талая вода. Ночью в лесу выли продрогшие волки. Дед Кузьма говорил, что они воют от зависти к людям: волку тоже охота пожить в избе, почесаться и полежать у печки, отогреть заледенелую косматую шкуру.

Среди зимы у деда вышла махорка. Дед сильно кашлял, жаловался на слабое здоровье и говорил, что если бы затянуться разок-другой — ему бы сразу полегчало.

В воскресенье Варюша пошла за махоркой для деда в соседнее село Переборы. Мимо села проходила железная дорога. Варюша купила махорки, завязала её в ситцевый мешочек и пошла на станцию посмотреть на поезда. В Переборах они останавливались редко. Почти всегда они проносились мимо с лязгом и грохотом.

На платформе сидели два бойца. Один был бородатый, с весёлым серым глазом. Заревел паровоз. Было уже видно, как он, весь в пару, яростно

рвётся к станции из дальнего чёрного леса.

— Скорый! — сказал боец с бородой. — Смотри, девчоночка, сдует тебя поездом. Улетишь под небеса.

Паровоз с размаху налетел на станцию. Снег завертелся и залепил глаза. Потом пошли перестукиваться, догонять друг друга колёса. Варюша схватилась за фонарный столб и закрыла глаза: как бы и вправду её не подняло над землёй и не утащило за поездом. Когда поезд пронёсся, а снежная пыль ещё вертелась в воздухе и садилась на землю, бородатый боец спросил Варюшу:

— Это что у тебя в мешочке? Не махорка?

— Махорка, — ответила Варюша.

— Может, продашь? Курить большая охота.

— Дед Кузьма не велит продавать, — строго ответила Варюша. — Это ему от кашля.

— Эх ты, — сказал боец, — цветок-лепесток в валенках! Больно серьёзная!

— А ты так возьми, сколько надо, — сказала Варюша и протянула бойцу мешочек. — Покури!

Боец отсыпал в карман шинели добрую горсть махорки, скрутил толстую цигарку, закурил, взял Варюшу за подбородок и посмотрел, посмеиваясь, в её синие глаза.

— Эх ты, — повторил он, — анютины глазки

с косичками! Чем же мне тебя отдарить? Разве вот этим?

Боец достал из кармана шинели маленькое стальное колечко, сдул с него крошки махорки и соли, потёр о рукав шинели и надел Варюше на средний палец.

— Носи на здоровье! Этот перстенёк совершенно чудесный. Гляди, как горит!

— А отчего он, дяденька, такой чудесный? — спросила, раскрасневшись, Варюша.

— А оттого, — ответил боец, — что ежели будешь носить его на среднем пальце, принесёт он здоровье. И тебе, и деду Кузьме. А наденешь его вот на этот, на безымянный, — боец потянул Варюшу за озябший, красный палец, — будет у тебя большущая радость. Или, к примеру, захочется тебе посмотреть белый свет со всеми его чудесами. Надень перстенёк на указательный палец — непременно увидишь!

— Будто? — спросила Варюша.

— А ты ему верь, — прогудел другой боец из-за поднятого ворота шинели. — Он колдун. Слыхала такое слово?

— Слыхала.

— Ну то-то! — засмеялся боец. — Он старый сапёр. Его даже мина не брала!

— Спасибо! — сказала Варюша и побежала к себе в Моховое.

Сорвался ветер, посыпался густой-прегустой снег. Варюша всё трогала колечко, повёртывала его и смотрела, как оно блестит от зимнего света.

«Что ж боец позабыл мне сказать про мизинец? — подумала она. — Что будет тогда? Дай-ка я надену колечко на мизинец, попробую».

Она надела колечко на мизинец. Он был худенький, колечко на нём не удержалось, упало в глубокий снег около тропинки и сразу нырнуло на самое снежное дно.

Варюша охнула и начала разгребать снег руками. Но колечка не было. Пальцы у Варюши посинели. Их так свело от мороза, что они уже не сгибались.

Варюша заплакала. Пропало колечко! Значит, не будет теперь здоровья деду Кузьме, и не будет у неё большущей радости, и не увидит она белый свет со всеми его чудесами. Варюша воткнула в снег, в том месте, где уронила колечко, старую еловую ветку и пошла домой. Она вытирала слёзы варежкой, но они всё равно набегали и замерзали, и от этого было колко и больно глазам.

Дед Кузьма обрадовался махорке, задымил всю избу, а про колечко сказал:

— Ты не горюй, дурочка! Где упало — там и валяется. Ты Сидора попроси. Он тебе сыщет.

Старый воробей Сидор спал на шестке, раздувшись, как шарик. Всю зиму Сидор жил в избе у Кузьмы самостоятельно, как хозяин. С характером своим он заставлял считаться не только Варюшу, но и самого деда. Кашу он склёвывал прямо из мисок, а хлеб старался вырвать из рук и, когда его отгоняли, обижался, ершился и начинал драться и чирикать так сердито, что под стреху слетались соседские воробьи, прислушивались, а потом долго шумели, осуждая Сидора за его дурной нрав. Живёт в избе, в тепле, в сытости, а всё ему мало!

На другой день Варюша поймала Сидора, завернула в платок и понесла в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой ветки. Варюша посадила на ветку Сидора и попросила:

— Ты поищи, поройся! Может, найдёшь!

Но Сидор скосил глаз, недоверчиво посмотрел на снег и пропищал:

«Ишь ты! Ишь ты! Нашла дурака!.. Ишь ты, ишь ты!» — повторил Сидор, сорвался с ветки и полетел обратно в избу.

Так и не отыскалось колечко.

Дед Кузьма кашлял всё сильнее. К весне он

залез на печку. Почти не спускался оттуда и всё чаще просил попить. Варюша подавала ему в железном ковшике холодную воду.

Метели кружились над деревушкой, заносили избы. Сосны завязли в снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место, где уронила колечко. Всё чаще она, спрятавшись за печкой, тихонько плакала от жалости к деду и бранила себя.

— Дурёха! — шептала она. — Забаловалась, обронила перстенёк. Вот тебе за это! Вот тебе!

Она била себя кулаком по темени, наказывала себя, а дед Кузьма спрашивал:

— С кем это ты там шумишь-то?

— С Сидором, — отвечала Варюша. — Такой стал неслух! Всё норовит драться.

Однажды утром Варюша проснулась оттого, что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. Варюша открыла глаза и зажмурилась. С крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли. Горячий свет бил в оконце. Орали галки.

Варюша выглянула на улицу. Тёплый ветер дунул ей в глаза, растрепал волосы.

— Вот и весна! — сказала Варюша.

Блестели чёрные ветки, шуршал, сползая с крыш, мокрый снег, и важно и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям как

молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, как в нём тотчас начинал булькать и переливаться ручей. Весна шла, и звон ручьёв с каждым её шагом становился громче и громче.

Снег в лесу потемнел. Сначала на нём выступила облетевшая за зиму коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев — их наломало бурей ещё в декабре, — потом зажелтели прошлогодние палые листья, проступили проталины и на краю последних сугробов зацвели первые цветы мать-и-мачехи.

Варюша нашла в лесу старую еловую ветку — ту, что воткнула в снег, где обронила колечко, и начала осторожно отгребать старые листья, пустые шишки, накиданные дятлами, ветки, гнилой мох. Под одним чёрным листком блеснул огонёк. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, стальное колечко! Оно ничуть не заржавело.

Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала домой.

Ещё издали, подбегая к избе, она увидела деда Кузьму. Он вышел из избы, сидел на завалинке, и синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к небу, будто Кузьма просыхал на весеннем солнышке и над ним курился пар.

— Ну вот, — сказал дед, — ты, вертушка, вы-

скочила из избы, позабыла дверь затворить, и продуло всю избу лёгким воздухом. И сразу болезнь меня отпустила. Сейчас вот покурю, возьму колун, наготовлю дровишек, затопим мы печь и спечём ржаные лепёшки.

Варюша засмеялась, погладила деда по косматым серым волосам, сказала:

— Спасибо колечку! Вылечило оно тебя, дед Кузьма.

Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна была случиться большущая радость. Но она медлила, не приходила, и Варюша так и уснула, не дождавшись.

Встала она рано, оделась и вышла из избы.

Тихая и тёплая заря занималась над землёй. На краю неба ещё догорали звёзды. Варюша пошла к лесу. На опушке она остановилась. Что это звенит в лесу, будто кто-то осторожно шевелит колокольчики?

Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками: белые подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, и каждый цветок позванивал, будто в нём сидел маленький жук кузька-звонарь и

бил лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел — пять раз.

«Пять часов! — подумала Варюша. — Рань-то какая! И тишь!»

Тотчас высоко на ветвях в золотом зоревом свете запела иволга.

Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала, улыбалась. Её обдало сильным, тёплым, ласковым ветром, и что-то прошелестело рядом. Закачалась лещина, из ореховых серёжек посыпалась жёлтая пыльца. Кто-то прошёл невидимый мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему закуковала, закланялась кукушка.

«Кто же это прошёл? А я и не разглядела!» — подумала Варюша.

Она не знала, что это весна прошла мимо неё.

Варюша засмеялась громко, на весь лес, и побежала домой. И большущая радость — такая, что не охватишь руками, — зазвенела, запела у неё на сердце.

Весна разгоралась с каждым днём всё ярче, всё веселей. Такой свет лился с неба, что глаза у деда Кузьмы стали узкие, как щёлки, но всё время посмеивались. А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них волшебной водой, зацвели-запестрели тысячи

тысяч цветов.

Варюша думала было надеть перстенёк на указательный палец, чтобы повидать белый свет со всеми его чудесами, но посмотрела на все эти цветы, на липкие берёзовые листочки, на ясное небо и жаркое солнце, послушала перекличку петухов, звон воды, пересвистывание птиц над полями — и не надела перстенёк на указательный палец.

«Успею, — подумала она. — Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у нас в Моховом. Это же прелесть что такое! Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля истинный рай и нету другой такой хорошей земли на белом свете!»

Дремучий медведь

Сын бабки Анисьи, по прозвищу Петя-большой, погиб на войне, и остался с бабкой жить её внучек, сын Пети-большого — Петя-маленький. Мать Пети-маленького, Даша, умерла, когда ему было два года, и Петя-маленький её совсем позабыл, какая она была.

— Всё тормошила тебя, веселила, — говорила бабка Анисья, — да, видишь ты, застудилась осенью и померла. А ты весь в неё. Только она была говорливая, а ты у меня дичок. Всё хоронишься по углам да думаешь. А думать тебе рано. Успеешь за жизнь надуматься. Жизнь долгая, в ней вон сколько дней! Не сочтёшь.

Когда Петя-маленький подрос, бабка Анисья определила его пасти колхозных телят.

Телята были как на подбор, лопоухие и ласковые. Только один, по имени Мужичок, бил Петю шерстистым лбом в бок и брыкался. Петя гонял телят пастись на Высокую реку. Старый пастух Семён-чаёвник подарил Пете рожок, и Петя трубил в него над рекой, скликал телят.

А река была такая, что лучше, должно быть, не найдёшь. Берега крутые, все в колосистых

травах, в деревах. И каких только дерев не было на Высокой реке! В иных местах даже в полдень было пасмурно от старых ив. Они окунали в воду могучие свои ветви, и ивовый лист — узкий, серебряный, вроде рыбки уклейки, — дрожал в бегучей воде. А выйдешь из-под чёрных ив — и ударит с полян таким светом, что зажмуришь глаза. Рощицы молодых осин толпятся на берегу, и все осиновые листья дружно блестят на солнце.

Ежевика на крутоярах так крепко хватала Петю за ноги, что он долго возился и сопел от натуги, прежде чем мог отцепить колючие плети. Но никогда он, осердясь, не хлестал ежевику палкой и не топтал ногами, как все остальные мальчишки.

На Высокой реке жили бобры. Бабка Анисья и Семён-чаёвник строго наказывали Пете не подходить к бобровым норам. Потому что бобр зверь строгий, самостоятельный, мальчишек деревенских вовсе не боится и может так хватить за ногу, что на всю жизнь останешься хромой. Но Пете была большая охота поглядеть на бобров, и потому он ближе к вечеру, когда бобры вылезали из нор, старался сидеть тихонько, чтобы не напугать сторожкого зверя.

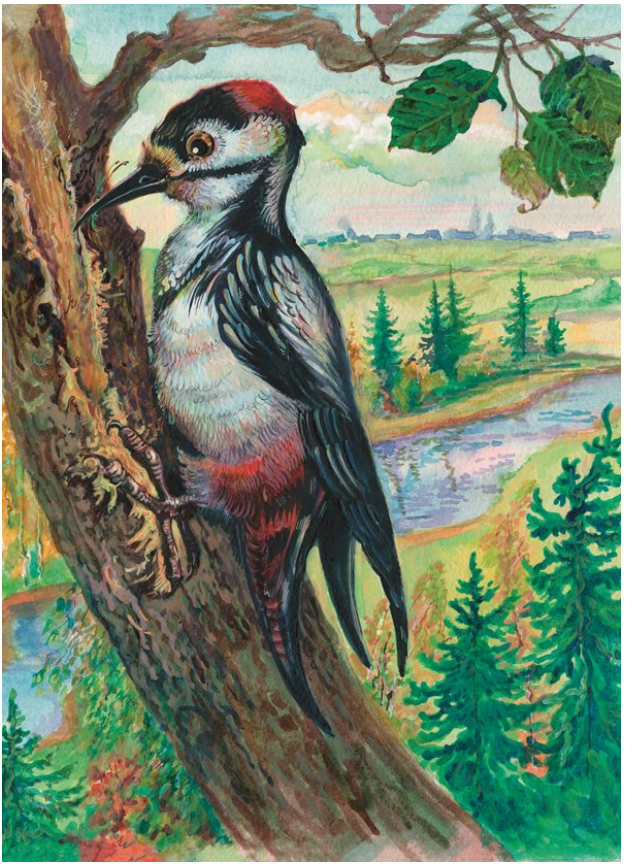
Однажды Петя видел, как бобр вылез из воды,

сел на берегу и начал тереть себе лапами грудь, драть её изо всех сил, сушить. Петя засмеялся, а бобр оглянулся на него, зашипел и нырнул в воду.



А другой раз вдруг с грохотом и плеском обрушилась в реку старая ольха. Тотчас под водой молниями полетели испуганные плотицы. Петя подбежал к ольхе и увидел, что она прогрызена бобровыми зубами до сердцевины, а в воде на ветках ольхи сидят эти самые бобры и жуют ольховую кору. Тогда Семён-чаёвник рассказал Пете, что бобр сперва подтачивает дерево, потом нажимает на него плечом, валит и питается этим деревом месяц или два, глядя по тому, толстое оно или не такое уж и толстое, как хотелось бобру.

В густоте листьев над Высокой рекой всегда было беспокойно. Там хлопотали разные птицы, а дятел, похожий на сельского почтаря Ивана Афанасьевича — такой же остроносый и с шустрым чёрным глазом, — колотил и колотил со всего размаха клювом по сухому осокорю. Ударит, отдёрнет голову, поглядит, примерится, зажмурит глаза и опять так ударит, что осокорь от макушки до корней загудит. Петя всё удивлялся — до чего крепкая голова у дятла! Весь день стучит по дереву, не теряет весёлости.



«Может, голова у него и не болит, — думал Петя, — но звон в ней стоит наверняка здоровый. Шутка ли — бить и бить целый день! Как только черепушка выдерживает!»

Пониже птиц, над всякими цветами — и зонтичными, и крестоцветными, и самыми невидными, как, скажем, подорожник, — летали ворсистые шмели, пчёлы и стрекозы.

Шмели не обращали на Петю внимания, а стрекозы останавливались в воздухе и, постреливая крылышками, рассматривали его выпуклыми глазищами, будто подумывали: ударить ли его в лоб со всего налёта, пугнуть с берега или не стоит с таким маленьким связываться?

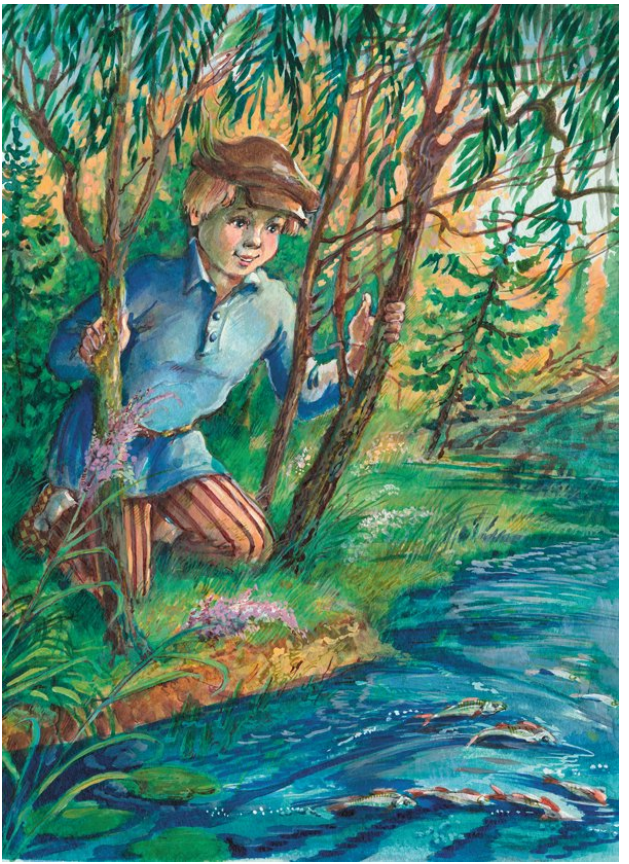
И в воде тоже было хорошо. Смотришь на неё с берега — и так и подмывает нырнуть и поглядеть: что там, в глубокой глубине, где качаются водоросли? И всё чудится, что ползёт по дну рак величиной с бабкино корыто, растопырил клешни, а рыбы пятятся от него, помахивают хвостами.

Постепенно и звери, и птицы привыкли к Пете и, бывало, прислушивались по утрам: когда же запоёт за кустами его рожок? Сначала они привыкли к Пете, а потом полюбили его за то, что не озоровал: не сбивал палками гнёзд, не связывал

стрекоз за лапки ниткой, не швырял в бобров камнями и не травил рыбу едучей известью.

Деревья тихонько шумели навстречу Пете — помнили, что ни разу он не сгибал, как другие мальчишки, тоненьких осинок до самой земли, чтобы полюбоваться, как они, выпрямившись, долго дрожат от боли и шелестят-жалуются листьями.

Стоило Пете раздвинуть ветки и выйти на берег, как сразу начинали щёлкать птицы, шмели взлетали и покрикивали: «С дороги! С дороги!», рыбы выскакивали из воды, чтобы похвастаться перед Петей пёстрой чешуёй, дятел так ударял по осокорю, что бобры поджимали хвосты и семенили в норы. Выше всех птиц взлетал жаворонок и пускал такую трель, что синий колокольчик только качал головой.



— Вот и я! — говорил Петя, стаскивал старую шапчонку и вытирал ею мокрые от росы щёки. — Здравствуйте!

— Дра! Дра! — отвечала за всех ворона. Никак она не могла выучить до конца такое простое человеческое слово, как «здравствуйте». На это не хватало у неё вороньей памяти.

Все звери и птицы знали, что живёт за рекой, в большом лесу, старый медведь и прозвище у того медведя — Дремучий. Его шкура и вправду была похожа на дремучий лес: вся в жёлтых сосновых иглах, в давленой бруснике и смоле. И хоть старый это был медведь и кое-где даже седой, но глаза у него горели, как светляки, — зелёные, будто у молодого.

Звери часто видели, как медведь осторожно пробирался к реке, высовывал из травы морду и принюхивался к телятам, что паслись на другом берегу. Один раз он даже попробовал лапой воду и заворчал. Вода была холодная — со дна реки били ледяные ключи, — и медведь раздумал переплывать реку. Не хотелось ему мочить шкуру.

Когда приходил медведь, птицы начинали отчаянно хлопать крыльями, деревья — шуметь, рыбы — бить хвостами по воде, шмели — грозно гудеть, даже лягушки подымали такой крик, что

медведь зажимал уши лапами и мотал головой.

А Петя удивлялся и смотрел на небо: не обкладывает ли его тучами, не к дождю ли раскричались звери? Но солнце спокойно плыло по небу. И только два облачка стояли в вышине, столкнувшись друг с другом на просторной небесной дороге.

С каждым днём медведь сердился всё сильнее. Он голодовал, брюхо у него совсем отвисло — одна кожа и шерсть. Лето выпало жаркое, без дождей. Малина в лесу посохла. Муравейник разроешь — так и там одна только пыль.

— Беда-а-а! — рычал медведь и выворачивал от злости молодые сосенки и берёзки. — Пойду задеру телка. А пастушок заступится, я его придушу лапой — и весь разговор!

От телят вкусно пахло парным молоком, и были они совсем рядом — только и дела, что переплыть каких-нибудь сто шагов.

«Неужто не переплыву? — сомневался медведь. — Да нет, пожалуй, переплыву. Мой дед, говорят, Волгу переплывал — и то не боялся».

Думал медведь, думал, нюхал воду, скрёб в затылке и наконец решился — прыгнул в воду, ахнул и поплыл.

Петя в то время лежал под кустом, а телята — глупые они ещё были — подняли головы, на-

ставили уши и смотрят: что это за старый пень плывёт по реке? А у медведя одна морда торчит над водой. И такая корявая эта морда, что с непривычки не то что телок, а даже человек может принять её за трухлявый пень.

Первой после телят заметила медведя ворона.

— Карраул! — крикнула она так отчаянно, что сразу охрипла. — Звери, воррр!

Всполошились все звери. Петя вскочил, руки у него затряслись, и уронил он свой рожок в траву: посредине реки плыл, загребая когтистыми лапами, старый медведь, отплёвывался и рычал. А телята подошли уже к самому крутояру, вытянули шеи и смотрят.



Закричал Петя, заплакал, схватил длинный свой кнут, размахнулся. Кнут щёлкнул, будто взорвался ружейный патрон. Да не достал кнут до медведя — ударил по воде. Медведь скосил на Петю глаз и зарычал:

— Погоди, сейчас вылезу на бережок — все кости твои пересчитаю. Что выдумал — старика кнутом бить!

Подплыл медведь к берегу, полез на крутояр к телятам, облизывается. Петя оглянулся, крикнул: «Подсобите!» — и видит: задрожали все осины и ивы и все птицы поднялись к небу. «Неужто все испугались и никто мне теперь не поможет?» — подумал Петя. А людей, как назло, никого рядом нету.

Но не успел он это подумать, как ежевика вцепилась колючими своими плетями в медвежьи лапы, и сколько медведь ни рвался, она его не пускала. Держит, а сама говорит: «Не-ет, брат, шутишь!»

Старая ива наклонила самую могучую ветку и начала изо всех сил хлестать ею медведя по худым бокам.

— Это что ж такое? — зарычал медведь. — Бунт? Я с тебя все листья сдеру, негодница!

А ива всё хлещет его и хлещет. В это время

дятел слетел с дерева, сел на медвежью голову, потоптался, примерился и как долбанёт медведя по темени! У медведя позеленело в глазах и жар прошёл от носа до самого кончика хвоста. Взвыл медведь, испугался насмерть, воет и собственного воя не слышит, слышит один хрип. Что такое? Никак медведь не догадается, что это шмели залезли ему в ноздри, в каждую по три шмеля, и сидят там, щекочут. Чихнул медведь, шмели вылетели, но тут же налетели пчёлы и начали язвить медведя в нос. А всякие птицы тучей вьются кругом и выщипывают у него шкуру волосок за волоском. Медведь начал кататься по земле, отбиваться лапами, закричал истошным голосом и полез обратно в реку.

Ползёт, пятится задом, а у берега уже ходит стопудовый окунь, поглядывает на медведя, дожидается. Как только медвежий хвост окунулся в воду, окунь хвать, зацепил его своими ста двадцатью зубами, напружился и потащил медведя в омут.

— Братцы! — заорал медведь, пуская пузыри. — Смилуйтесь! Отпустите! Слово даю… до смерти сюда не приду! И пастуха не обижу!

— Вот хлебнёшь бочку воды, тогда не придёшь! — прохрипел окунь, не разжимая зу-

бов. — Уж я ли тебе поверю, Михайлыч, старый обманщик!

Только хотел медведь пообещать окуню кувшин липового мёда, как самый драчливый ёрш на Высокой реке, по имени Шипояд, разогнался, налетел на медведя и засадил ему в бок свой ядовитый и острый шип. Рванулся медведь, хвост оторвался, остался у окуня в зубах. А медведь нырнул, выплыл и пошёл махать сажёнками к своему берегу.

«Фу, — думает, — дёшево я отделался! Только хвост потерял. Хвост старый, облезлый, мне от него никакого толку».

Доплыл до половины реки, радуется, а бобры только этого и ждут. Как только началась заваруха с медведем, они кинулись к высокой ольхе и тут же начали её грызть. И так за минуту подгрызли, что держалась эта ольха на одном тонком шпеньке.

Подгрызли ольху, стали на задние лапы и ждут. Медведь плывёт, а бобры смотрят — рассчитывают, когда он подплывёт под самый под удар этой высоченной ольхи. У бобров расчёт всегда верный, потому что они единственные звери, что умеют строить разные хитрые вещи — плотины, подводные ходы и шалаши.

Как только подплыл медведь к назначенному месту, старый бобр крикнул:

— А ну, нажимай!

Бобры дружно нажали на ольху, шпенёк треснул, и ольха загрохотала — обрушилась в реку. Пошла пена, буруны, захлестали волны и водовороты. И так ловко рассчитали бобры, что ольха самой серединой ствола угодила медведю в спину, а ветками прижала его к иловатому дну.

«Ну, теперь крышка!» — подумал медведь. Он рванулся под водой изо всех сил, ободрал бока, замутил всю реку, но всё-таки как-то вывернулся и выплыл.

Вылез на свой берег и — где там отряхиваться, некогда! — пустился бежать по песку к своему лесу. А позади крик, улюлюканье. Бобры свищут в два пальца. А ворона так задохнулась от хохота, что один только раз и прокричала: «Дуррак!» — а больше уже и кричать не могла. Осинки мелко тряслись от смеха, а ёрш Шипояд разогнался, выскочил из воды и лихо плюнул вслед медведю, да не доплюнул — где там доплюнуть при таком отчаянном беге!

Добежал медведь до леса, едва дышит. А тут, как на грех, девушки из Окулова пришли по грибы. Ходили они в лес всегда с пустыми бидонами от

молока и палками, чтобы на случай встречи со зверем пугнуть его шумом.

Выскочил медведь на поляну, девушки увидали его — все враз завизжали и так грохнули палками по бидонам, что медведь упал, ткнулся мордой в сухую траву и затих. Девушки, понятно, убежали, только пёстрые их юбки метнулись в кустах.

А медведь стонал-стонал, потом съел какой-то гриб, что подвернулся на зуб, отдышался, вытер лапами пот и пополз на брюхе в своё логово. Залёг с горя спать на осень и зиму. И зарёкся на всю жизнь не выходить больше из дремучего леса. И уснул, хотя и побаливало у него то место, где был оторванный хвост.

Петя посмотрел вслед медведю, посмеялся, потом взглянул на телят. Они мирно жевали траву и то один, то другой чесали копытцем задней ноги у себя за ухом.

Тогда Петя стащил шапку и низко поклонился деревьям, шмелям, реке, рыбам, птицам и бобрам.

— Спасибо вам! — сказал Петя.

Но никто ему не ответил.

Тихо было на реке. Сонно висела листва ив, не трепетали осины, даже не было слышно птичьего щебета.

Петя никому не рассказал, что случилось на Высокой реке, только бабке Анисье: боялся, что не поверят. А бабка Анисья отложила недовязанную варежку, сдвинула очки в железной оправе на лоб, посмотрела на Петю и сказала:

— Вот уж и вправду говорят люди: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Звери за тебя не зря заступились, Петруша! Так, говоришь, окунь ему хвост начисто оторвал? Вот грех-то какой! Вот грех!

Бабка Анисья сморщилась, засмеялась и уронила варежку вместе с деревянным вязальным крючком.

Похождения жука-носорога

Когда Пётр Терентьев уходил из деревни на войну, маленький сын его Стёпа не знал, что подарит отцу на прощание, и подарил наконец старого жука-носорога. Поймал он его на огороде и посадил в коробок от спичек. Носорог сердился, стучал, требовал, чтобы его выпустили. Но Стёпа его не выпускал, а подсовывал ему в коробок травинки, чтобы жук не умер от голода. Носорог травинки сгрызал, но всё равно продолжал стучать и браниться.

Стёпа прорезал в коробке маленькое оконце для притока свежего воздуха. Жук высовывал в оконце мохнатую лапу и старался ухватить Стёпу за палец — хотел, должно быть, поцарапать от злости. Но Стёпа палец не давал. Тогда жук начинал с досады так жужжать, что мать Стёпы Акулина кричала:

— Выпусти ты его, лешего! Весь день жундит и жундит, голова от него распухла!

Пётр Терентьев усмехнулся на Стёпин подарок, погладил Стёпу по голове шершавой рукой и спрятал коробок с жуком в сумку от противогаза.

— Только ты его не теряй, сбереги, — сказал

Стёпа.

— Нешто можно такие гостинцы терять, — ответил Пётр. — Уж как-нибудь сберегу.

То ли жуку понравился запах резины, то ли от Петра приятно пахло шинелью и чёрным хлебом, но жук присмирел и так и доехал с Петром до самого фронта.

На фронте бойцы удивлялись жуку, трогали пальцами его крепкий рог, выслушивали рассказ Петра о сыновьем подарке, говорили:

— До чего додумался парнишка! А жук, видать, боевой. Прямо ефрейтор, а не жук.

Бойцы интересовались, долго ли жук протянет и как у него обстоит дело с пищевым довольствием — чем его Пётр будет кормить и поить. Без воды он, хотя и жук, а прожить не сможет.

Пётр смущённо усмехался, отвечал, что жуку дашь какой-нибудь колосок — он и питается неделю. Много ли ему нужно.

Однажды ночью Пётр в окопе задремал, выронил коробок с жуком из сумки.

Жук долго ворочался, раздвинул щель в коробке, вылез, пошевелил усиками, прислушался. Далеко гремела земля, сверкали жёлтые молнии.

Жук полез на куст бузины на краю окопа, чтобы получше осмотреться. Такой грозы он ещё

не видал. Молний было слишком много. Звёзды не висели неподвижно на небе, как у жука на родине, в петровской деревне, а взлетали с земли, освещали всё вокруг ярким светом, дымились и гасли. Гром гремел непрерывно.

Какие-то жуки со свистом проносились мимо. Один из них так ударил в куст бузины, что с него посыпались красные ягоды. Старый носорог упал, прикинулся мёртвым и долго боялся пошевелиться. Он понял, что с такими жуками лучше не связываться — уж очень много их свистело вокруг.

Так он пролежал до утра, пока не поднялось солнце. Жук открыл один глаз, посмотрел на небо. Оно было синее, тёплое, такого неба не было в его деревне. Огромные птицы с воем падали с этого неба, как коршуны. Жук быстро перевернулся, стал на ноги, полез под лопух — испугался, что коршуны его заклюют до смерти.

Утром Пётр хватился жука, начал шарить кругом по земле.

— Ты чего? — спросил сосед-боец с таким загорелым лицом, что его можно было принять за негра.

— Жук ушёл, — ответил Пётр с огорчением. — Вот беда!

— Нашёл об чём горевать, — сказал загорелый боец. — Жук и есть жук, насекомое. От него солдату никакой пользы сроду не было.

— Дело не в пользе, — возразил Пётр, — а в памяти. Сынишка мне его подарил напоследок. Тут, брат, не насекомое дорого, а дорога память.

— Это точно! — согласился загорелый боец. — Это, конечно, дело другого порядка. Только найти его — всё равно что махорочную крошку в океане-море. Пропал, значит, жук.

Старый носорог услышал голос Петра, зажужжал, поднялся с земли, перелетел несколько шагов и сел Петру на рукав шинели. Пётр обрадовался, засмеялся, а загорелый боец сказал:

— Ну и шельма! На хозяйский голос идёт, как собака. Насекомое, а котелок у него варит.

С тех пор Пётр перестал сажать жука в коробок, а носил его прямо в сумке от противогаза, и бойцы ещё больше удивлялись: «Видишь ты, совсем ручной сделался жук!»

Иногда в свободное время Пётр выпускал жука, а жук ползал вокруг, выискивал какие-то корешки, жевал листья. Они были уже не те, что в деревне. Вместо листьев берёзы много было листьев вяза и тополя. И Пётр, рассуждая с бойцами, говорил:

— Перешёл мой жук на трофейную пищу.

Однажды вечером в сумку от противогаза подуло свежестью, запахом большой воды, и жук вылез из сумки, чтобы посмотреть, куда это он попал.

Пётр стоял вместе с бойцами на пароме. Паром плыл через широкую светлую реку. За ней садилось золотое солнце, по берегам стояли ракиты, летали над ними аисты с красными лапами.

— Висла! — говорили бойцы, зачерпывали манерками воду, пили, а кое-кто умывал в прохладной воде пыльное лицо. — Пили мы, значит, воду из Дона, Днепра и Буга, а теперь попьём и из Вислы. Больно сладкая в Висле вода.

Жук подышал речной прохладой, пошевелил усиками, залез в сумку, уснул.

Проснулся от сильной тряски. Сумку мотало, она подскакивала. Жук быстро вылез, огляделся. Пётр бежал по пшеничному полю, а рядом бежали бойцы, кричали «ура». Чуть светало. На касках бойцов блестела роса.

Жук сначала изо всех сил цеплялся лапками за сумку, потом сообразил, что всё равно ему не удержаться, раскрыл крылья, снялся, полетел рядом с Петром и загудел, будто подбодряя Петра.

Какой-то человек в грязном зелёном мундире

прицелился в Петра из винтовки, но жук с налёта ударил этого человека в глаз. Человек пошатнулся, выронил винтовку и побежал.

Жук полетел следом за Петром, вцепился ему в плечи и слез в сумку только тогда, когда Пётр упал на землю и крикнул кому-то: «Вот незадача! В ногу меня задело!» В это время люди в грязных зелёных мундирах уже бежали, оглядываясь, и за ними по пятам катилось громовое «ура».

Месяц Пётр пролежал в лазарете, а жука отдали на сохранение польскому мальчику. Мальчик этот жил в том же дворе, где помещался лазарет.

Из лазарета Пётр снова ушёл на фронт — рана у него была лёгкая. Часть свою он догнал уже в Германии. Дым от тяжёлых боёв был такой, будто горела сама земля и выбрасывала из каждой лощинки громадные чёрные тучи. Солнце меркло в небе. Жук, должно быть, оглох от грома пушек и сидел в сумке тихо, не шевелясь.

Но как-то утром он задвигался и вылез. Дул тёплый ветер, уносил далеко на юг последние полосы дыма. Чистое высокое солнце сверкало в синей небесной глубине. Было так тихо, что жук слышал шелест листа на дереве над собой. Все листья висели неподвижно, и только один трепетал и шумел, будто радовался чему-то и хотел

рассказать об этом всем остальным листьям.

Пётр сидел на земле, пил из фляжки воду. Капли стекали по его небритому подбородку, играли на солнце. Напившись, Пётр засмеялся и сказал:

— Победа!

— Победа! — отозвались бойцы, сидевшие рядом.

Один из них вытер рукавом глаза и добавил:

— Вечная слава! Стосковалась по нашим рукам родная земля. Мы теперь из неё сделаем сад и заживём, братцы, вольные и счастливые.

Вскоре после этого Пётр вернулся домой. Акулина закричала и заплакала от радости, а Стёпа тоже заплакал и спросил:

— Жук живой?

— Живой он, мой товарищ, — ответил Пётр. — Не тронула его пуля. Воротился он в родные места с победителями. И мы его выпустим с тобой, Стёпа.

Пётр вынул жука из сумки, положил на ладонь.

Жук долго сидел, озирался, поводил усами, потом приподнялся на задние лапки, раскрыл крылья, снова сложил их, подумал и вдруг взлетел с громким жужжанием — узнал родные места. Он сделал круг над колодцем, над грядкой

укропа в огороде и полетел через речку в лес, где аукались ребята, собирали грибы и дикую малину. Стёпа долго бежал за ним, махал картузом.

— Ну вот, — сказал Пётр, когда Стёпа вернулся, — теперь жучище этот расскажет своим про войну и про геройское своё поведение. Соберёт всех жуков под можжевельником, поклонится на все стороны и расскажет.

Стёпа засмеялся, а Акулина сказала:

— Будя мальчику сказки рассказывать. Он и впрямь поверит.

— И пусть его верит, — ответил Пётр. — От сказки не только ребятам, а даже бойцам одно удовольствие.

— Ну разве так! — согласилась Акулина и подбросила в самовар сосновых шишек.

Самовар загудел, как старый жук-носорог. Синий дым из самоварной трубы заструился, полетел в вечернее небо, где уже стоял молодой месяц, отражался в озёрах, в реке, смотрел сверху на тихую нашу землю.

Заботливый цветок

Есть такое растение — высокое, с красными цветами. Цветы эти собраны в большие стоячие кисти. Называется оно кипрей.

Об этом кипрее я и хочу рассказать.

Прошлым летом я жил в маленьком городке на одной из наших полноводных рек. Около этого городка сажали сосновые леса.

Как всегда в таких городках, на базарной площади весь день стояли телеги с сеном. Около них спали мохнатые лошадёнки. К вечеру стадо, возвращаясь из лугов, подымало красную от заката пыль. Охрипший громкоговоритель передавал местные новости.

Однажды я шёл перед вечером мимо базарной площади в лесничество. Оно помещалось на окраине городка над рекой. Среди улицы мальчишки играли в футбол. Громкоговоритель висел на телеграфном столбе. Он неожиданно защёлкал, откашлялся и сказал басом:

«Ребята! Напоминаем, что завтра в шесть часов утра состоится поход в Моховой лес для сбора сосновых шишек из беличьих запасов. Руководить походом будет сотрудница лесничества Анна

Петровна Заречная».

Я не мог понять, о каких беличьих запасах идёт речь. Кого бы расспросить об этом? Мальчишки продолжали гонять мяч, будто они и не слыхали громового голоса из чёрной тарелки на столбе. Из окна в соседнем домишке высунулась старушка.

— Петя! — закричала она дребезжащим голосом. — Кузя! Ступайте домой, неслухи. Завтра спозаранку в лес идти, а вы футбол затеяли. Я вас на заре подымать не буду. Я вам не будильник.

— Счас! — закричали в ответ мальчики. — Последний гол забьём!

Неожиданно футбольный мяч угодил в козу, привязанную к крылечку. Коза вскрикнула, взвилась на дыбы и оборвала верёвку. Мальчишки бросились врассыпную. Из всех окошек высунулись разгневанные хозяйки.

— Озорники! — закричали хозяйки. — Вот скажем Анне Петровне, чтобы она вас в лес не брала.

Я пошёл дальше. За углом я увидел мальчиков. Они, оказывается, прятались там от хозяек.

— Ребята, — спросил я мальчиков, — что это за беличьи запасы, про которые объявляли по радио?

Мальчики наперебой начали рассказывать

мне, что никто лучше белок не умеет собирать сосновые шишки.

— Они их себе на зиму запасают! — кричали мальчики. — Складывают в дупла. Да ты не толкайся, дай мне сказать. Белка только здоровые шишки берёт.

— Без нас эти шишки никто и не достанет! — закричал мальчик с отчаянными синими глазами. — Дупло высоко. А мы туда — раз-раз! Мигом долезем и все шишки выберем.

— А вам белок не жалко? — спросил я.

— Белки не обижаются! — закричали, волнуясь, мальчики. — Они за два-три часа опять полное дупло натаскают.

— Вы в лесничество идёте? — спросил меня мальчик с синими глазами.

— Да, в лесничество.

— Мы давно приметили, что вы туда ходите. Так вы, пожалуйста, Анне Петровне про козу не рассказывайте. Мы в неё мячом случайно попали.

Я пообещал ничего не говорить Анне Петровне. Но даже если бы я ей и рассказал про случай с козой, то Анна Петровна (все в лесничестве её звали Анютой) на мальчиков не рассердилась бы, потому что сама была молодая, весёлая и только год назад окончила лесной техникум.

Около дома, где помещалось лесничество, разросся по склону оврага тенистый сад. По дну оврага протекала речушка. Тут же невдалеке она впадала в большую реку.

Речушка была тихая, с ленивым течением и густыми зарослями по берегам. В этих зарослях была протоптана к воде тропинка, а около неё стояла скамейка. В свободные минуты лесничий Михаил Михайлович, Анюта и другие сотрудники лесничества любили немного посидеть на этой скамейке, посмотреть, как толчётся над водой мошкара и как заходящее солнце догорает на облаках, похожих на парусные корабли.

В этот вечер я застал Михаила Михайловича и Анюту на скамейке на берегу реки.

В омуте у наших ног плавала необыкновенно зелёная ряска. На чистых местах цвёл водокрас — белые и тонкие, как папиросная бумага, цветы с красной сердцевиной. Выше омута на крутом берегу островами разросся кипрей.

— Кипрей — это наш помощник, — заметил Михаил Михайлович.

— И белки тоже неплохие помощники, — добавила Анюта.

— О белках я узнал только что, — сказал я. — От мальчиков. Это правда, что вы отбираете у белок

сосновые шишки?

— А как же! — ответила Анюта. — Лучших сборщиков шишек, чем белки, нету на свете. Пойдёмте с нами завтра в лес. Сами увидите.

— Ну что ж, — согласился я. — Пойдёмте. А вот кипрей чем вам помогает, я не знаю. До сих пор я только знал, что его листья заваривают вместо чая.

— Потому его и прозвали в народе иван-чаем, — объяснил Михаил Михайлович. — А помогает он нам вот чем…

Михаил Михайлович начал рассказывать.

Кипрей всегда разрастается на лесных пожарищах и порубках. Недавно ещё кипрей считали сорной травой. Он только и годился, что на дешёвый чай. Лесники безжалостно вырывали весь кипрей, что вырастал рядом с молодыми сосенками. Делали это они потому, что считали, будто кипрей заглушает побеги сосен, отнимает у них свет и влагу.

Но вскоре заметили, что сосенки в тех местах, где уничтожен кипрей, совсем не могут бороться с холодом и от первых же утренних морозов, какие бывают в начале осени, начисто погибают.

Учёные, конечно, начали искать причину этого и наконец нашли.

— Что же оказалось? — спросил Михаил Михайлович и сам себе ответил: — А оказалось, что кипрей — очень тёплый цветок. Когда ударит осенний мороз и иней посеребрит траву, то около кипрея инея нету. Потому что вокруг кипрея стоит тёплый воздух. Этот цветок выделяет из себя теплоту. И в этой теплоте растут себе без страха все соседи кипрея, все слабенькие побеги, пока зима не прикроет их, как ватным одеялом, глубоким снежком. И заметьте, что кипрей всегда разрастается рядом с молодыми соснами. Это их сторож, их защитник, их нянька. Бывает, в сильный мороз у кипрея отмёрзнет вся верхушка, а он всё равно не сдаётся, живёт и дышит теплотой. Самоотверженный цветок!

— Кипрей, — сказала Анюта, — не только воздух обогревает, но и почву. Так что и корешки всех этих побегов не замерзают.

— Вы думаете, один кипрей такой замечательный? — спросил меня Михаил Михайлович. — Почти про каждое растение можно рассказать такие удивительные вещи, что вы просто ахнете. Что ни цветок, то прямо рассказ. Растения спасают нас от болезней, дают крепкий сон, свежие силы, одевают, кормят — всего не перечтёшь. Нет у нас лучших друзей, чем растения. Да если

бы я умел рассказывать сказки, я бы о каждой травинке, о каждом каком-нибудь незаметном маленьком лютике или колоске порассказал бы такое, что все старые добрые сказочники мне бы позавидовали.

— Ещё бы! — сказала Анюта. — Если бы они знали тогда то, что мы знаем сейчас, тогда и сказок не надо бы.

На следующий день я ходил вместе с мальчиками и Анютой в Моховой лес, видел беличьи склады сосновых шишек, видел заросли кипрея на гарях и молодых посадках, и с тех пор я начал относиться и к белкам, и к цветам кипрея, и к молодым сосенкам как к своим верным друзьям.

Перед отъездом я сорвал кисть кипрея. Анюта высушила её мне в сухом песке. От этого цветы не потеряли своей яркой пунцовой окраски.

У себя в Москве я заложил эту сухую кисть кипрея в толстую книгу. Называлась она «Русские народные сказки». И каждый раз, когда я раскрывал эту книгу, я думал о том, что жизнь, окружающая нас, хотя бы жизнь вот этого простенького и скромного цветка, бывает интереснее самых волшебных сказок.

Растрёпанный воробей

На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. Часы щёлкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотом по маленькой медной наковальне. Торопливый звон посыпался по комнате, закатился под книжный шкаф и затих.

Кузнец ударил по наковальне восемь раз, хотел ударить и девятый, но рука у него вздрогнула и повисла в воздухе. Так, с поднятой рукой, он и простоял целый час, пока не пришёл срок пробить по наковальне девять ударов.

Маша стояла у окна и не оглядывалась. Если оглянешься, то нянюшка Петровна непременно проснётся и погонит спать.

Петровна дремала на диване, а мама, как всегда, ушла в театр. Она танцевала в театре, но никогда не брала с собой туда Машу.

Театр был огромный, с каменными колоннами. На крыше его взвивались на дыбы чугунные лошади. Их сдерживал человек с венком на голове — должно быть, сильный и храбрый. Ему удалось остановить горячих лошадей у самого края крыши. Копыта лошадей висели над пло-

щадью. Маша представляла себе, какой был бы переполох, если бы человек не сдержал чугунных лошадей: они сорвались бы с крыши на площадь и промчались с громом и звоном мимо милиционеров.

Все последние дни мама волновалась. Она готовилась впервые танцевать Золушку и обещала взять на первый же спектакль Петровну и Машу.

За два дня до спектакля мама вынула из сундука сделанный из тонкого стекла маленький букет цветов. Его подарил маме Машин отец. Он был моряком и привёз этот букетик из какой-то далёкой страны.

Потом Машин отец ушёл на войну, потопил несколько фашистских кораблей, два раза тонул, был ранен, но остался жив. А теперь он опять далеко, в стране со странным названием Камчатка, и вернётся не скоро, только весной.

Мама вынула стеклянный букет и тихо сказала ему несколько слов. Это было удивительно, потому что раньше мама никогда не разговаривала с вещами.

— Вот, — прошептала мама, — ты и дождался.

— Чего дождался? — спросила Маша.

— Ты маленькая, ничего ещё не понимаешь, — ответила мама. — Папа подарил мне этот букет и

сказал: «Когда ты будешь в первый раз танцевать Золушку, обязательно приколи его к платью после бала во дворце. Тогда я буду знать, что ты в это время вспомнила обо мне».

— А вот я и поняла, — сказала сердито Маша.

— Что ты поняла?

— Всё! — ответила Маша и покраснела: она не любила, когда ей не верили.

Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, чтобы Маша не смела дотрагиваться до него даже мизинцем, потому что он очень хрупкий.

В этот вечер букет лежал за спиной у Маши на столе и поблёскивал. Было так тихо, что казалось, всё спит кругом: весь дом, и сад за окнами, и каменный лев, что сидел внизу у ворот и всё сильней белел от снега. Не спали только Маша, отопление и зима. Маша смотрела за окно, отопление пищало свою тёплую песню, а зима всё сыпала и сыпала с неба тихий снег. Он летел мимо фонарей и ложился на землю. И было непонятно, как с такого чёрного неба может слетать такой белый снег. И ещё было непонятно, почему среди зимы и морозов распустились у мамы на столе в корзине красные большие цветы. Но непонятнее всего была седая ворона. Она сидела на ветке за

окном и смотрела, не моргая, на Машу.

Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку, чтобы проветрить на ночь комнату, и уведёт Машу умываться.

Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку, протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала.

Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковёр и оставляла на столе мокрые следы.

Петровна каждый раз, возвратившись в комнату, всплёскивала руками и кричала:

— Разбойница! Опять чего-нибудь уволокла!

Маша тоже всплёскивала руками и вместе с Петровной начинала торопливо искать, что на этот раз утащила ворона. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье и колбасу.

Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где летом продавали мороженое. Ворона была скупая, сварливая. Она забивала клювом в щели ларька все свои богатства, чтобы их не разворовали воробьи.

Иной раз по ночам ей снилось, будто воробьи прокрались в ларёк и выдалбливают из щелей кусочки замёрзшей колбасы, яблочную кожуру и серебряную обёртку от конфет. Тогда ворона

сердито каркала во сне, а милиционер на соседнем углу оглядывался и прислушивался. Он уже давно слышал по ночам карканье из ларька и удивлялся. Несколько раз он подходил к ларьку и, загородившись ладонями от света уличного фонаря, всматривался внутрь. Но в ларьке было темно, и только на полу белел поломанный ящик.

Однажды ворона застала в ларьке маленького растрёпанного воробья по имени Пашка.

Жизнь для воробьёв пришла трудная. Маловато было овса, потому что лошадей в городе почти не осталось. В прежние времена — их иногда вспоминал Пашкин дед, старый воробей по прозвищу Чичкин, — воробьиное племя все дни толкалось около извозчичьих стоянок, где овёс высыпался из лошадиных торб на мостовую.

А теперь в городе одни машины. Они овсом не кормятся, не жуют его с хрупом, как добродушные лошади, а пьют какую-то ядовитую воду с едким запахом. Воробьиное племя поредело. Иные воробьи подались в деревню, поближе к лошадям, а иные — в приморские города, где грузят на пароходы зерно и потому там воробьиная жизнь сытая и весёлая.

«Раньше, — рассказывал Чичкин, — воробьи

собирались стаями по две-три тысячи штук. Бывало, как вспорхнут, как рванут воздух, так не то что люди, а даже извозчичьи лошади шарахались и бормотали: "Господи, спаси и помилуй! Неужто нету на этих сорванцов управы?"

А какие были воробьиные драки на базарах! Пух летел облаками. Теперь таких драк нипочём не допустят...»

Ворона застала Пашку, как только он юркнул в ларёк и не успел ещё ничего выковырять из щели. Она стукнула Пашку клювом по голове.

Пашка упал и завёл глаза: прикинулся мёртвым.

Ворона выбросила его из ларька и напоследок каркнула — выбранилась на всё воробьиное вороватое племя.

Милиционер оглянулся и подошёл к ларьку. Пашка лежал на снегу: умирал от боли в голове и только тихонько открывал клюв.

— Эх ты, беспризорник! — сказал милиционер, снял варежку, засунул в неё Пашку и спрятал варежку с Пашкой в карман шинели. — Невесёлой жизни ты воробей!

Пашка лежал в кармане, моргал глазами и плакал от обиды и голода. Хоть бы склюнуть какую ни на есть крошку! Но у милиционера хлебных

крошек в кармане не было, а валялись только бесполезные крошки табаку.

Утром Петровна с Машей пошли гулять в парк. Милиционер подозвал Машу и строго спросил:

— Вам, гражданочка, воробей не требуется? На воспитание?

Маша ответила, что воробей ей требуется, и даже очень. Тогда красное, обветренное лицо милиционера вдруг собралось морщинками. Он засмеялся и вытащил варежку с Пашкой:

— Берите! С варежкой. А то удерёт. Варежку мне потом принесёте. Я с поста сменяюсь не раньше чем в двенадцать часов.

Маша принесла Пашку домой, пригладила ему перья щёткой, накормила и выпустила. Пашка сел на блюдечко, попил из него чаю, потом посидел на голове у кузнеца, даже начал было дремать, но кузнец в конце концов рассердился, замахнулся молотком, хотел ударить Пашку. Пашка с шумом перелетел на голову баснописцу Крылову. Крылов был бронзовый, скользкий — Пашка едва на нём удержался. А кузнец, осердясь, начал колотить по наковальне — и наколотил одиннадцать раз.

Пашка прожил в комнате у Маши целые сутки и видел вечером, как влетела в форточку старая

ворона и украла со стола копчёную рыбью голову. Пашка спрятался за корзину с красными цветами и сидел там тихо.

С тех пор Пашка каждый день прилетал к Маше, поклёвывал крошки и соображал, чем бы Машу отблагодарить. Один раз он принёс ей замёрзшую рогатую гусеницу — нашёл её на дереве в парке. Но Маша гусеницу есть не стала, и Петровна, бранясь, выбросила гусеницу за окно.

Тогда Пашка, назло старой вороне, начал ловко утаскивать из ларька ворованные вещи и приносить их обратно к Маше. То притащит засохшую пастилу, то окаменелый кусочек пирога, то красную конфетную бумажку.

Должно быть, ворона воровала не только у Маши, но и в других домах, потому что Пашка иногда ошибался и притаскивал чужие вещи: расчёску, игральную карту — трефовую даму — и золотое перо от «вечной» ручки.

Пашка влетал с этими вещами в комнату, бросал их на пол, делал по комнате несколько петель и стремительно, как маленький пушистый снаряд, исчезал за окном.

В этот вечер Петровна что-то долго не просыпалась. Маше было любопытно посмотреть, как ворона протискивается в форточку. Она этого ни

разу не видела.

Маша влезла на стул, открыла форточку и спряталась за шкафом. Сначала в форточку летел крупный снег и таял на полу, а потом вдруг что-то заскрипело. Ворона влезла в комнату, прыгнула на мамин стол, посмотрелась в зеркало, взъерошилась, увидев там такую же злую ворону, потом каркнула, воровато схватила стеклянный букет и вылетела за окно.

Маша вскрикнула. Петровна проснулась, заохала и заругалась. А мама, когда возвратилась из театра, так долго плакала, что вместе с ней заплакала и Маша. А Петровна говорила, что не надо убиваться, может, и найдётся стеклянный букетик — если, конечно, дура ворона не обронила его в снег.

Утром прилетел Пашка. Он сел отдохнуть на баснописца Крылова, услышал рассказ об украденном букете, нахохлился и задумался.

Потом, когда мама пошла на репетицию в театр, Пашка увязался за ней.

Он перелетал с вывесок на фонарные столбы, с них — на деревья, пока не долетел до театра, там он посидел немного на морде у чугунной лошади, почистил клюв, смахнул лапой слезинку, чирикнул и скрылся.

Вечером мама надела на Машу праздничный белый фартучек, а Петровна накинула на плечи коричневую атласную шаль, и все вместе поехали в театр. А в этот самый час Пашка по приказу Чичкина собрал всех воробьёв, какие жили поблизости, и воробьи всей стаей напали на вороний ларёк, где был спрятан стеклянный букет.

Сразу воробьи не решились, конечно, напасть на ларёк, а расселись на соседних крышах и часа два дразнили ворону. Они думали, что она разозлится и вылетит из ларька. Тогда можно будет устроить бой на улице, где не так тесно, как в ларьке, и где на ворону можно навалиться всем сразу. Но ворона была учёная, знала воробьиные хитрости и из ларька не вылезала.

Тогда воробьи наконец собрались с духом и начали один за другим проскакивать в ларёк.

Там поднялся такой писк, шум и трепыхание, что вокруг ларька тотчас собралась толпа.

Прибежал милиционер. Он заглянул в ларёк и отшатнулся: воробьиный пух летал по всему ларьку, и в этом пуху ничего нельзя было разобрать.

— Вот это да! — сказал милиционер. — Вот это рукопашный бой по уставу!

Милиционер начал отдирать доски, чтобы от-

крыть заколоченную дверь в ларёк и прекратить драку.

В это время все струны на скрипках и виолончелях в театральном оркестре тихонько вздрогнули.

Высокий человек взмахнул бледной рукой, медленно повёл ею, и под нарастающий гром музыки тяжёлый бархатный занавес качнулся, легко поплыл в сторону, и Маша увидела большую нарядную комнату, залитую жёлтым солнцем, и богатых уродок сестёр, и злую мачеху, и свою маму — худенькую и красивую, в стареньком сером платье.

— Золушка! — тихо вскрикнула Маша и уже не могла оторваться от сцены.

Там, в сиянии голубого, розового, золотого и лунного света, появился дворец. И мама, убегая из него, потеряла на лестнице хрустальную туфельку.

Было очень хорошо, что музыка всё время только то и делала, что печалилась и радовалась за маму, как будто все эти скрипки, гобои, флейты и тромбоны были живыми добрыми существами. Они всячески старались помочь маме вместе с высоким дирижёром. Он так был занят тем, чтобы помочь Золушке, что даже ни разу не оглянулся

на зрительный зал.

И это очень жаль, потому что в зале было много детей с пылающими от восторга щеками.

Даже старые капельдинеры, которые никогда не смотрят спектакли, а стоят в коридорах у дверей с пучками программок в руках и большими чёрными биноклями, — даже эти старые капельдинеры бесшумно вошли в зал, прикрыли за спиной двери и смотрели на Машину маму. А один даже вытирал глаза. Да и как ему было не прослезиться, если так хорошо танцевала дочь его умершего товарища, такого же капельдинера, как и он.

И вот, когда кончился спектакль и музыка так громко и весело запела о счастье, что люди улыбнулись про себя и только недоумевали, почему у счастливой Золушки на глазах слёзы, — вот в это самое время в зрительный зал ворвался, поносившись и поплутав по театральным лестницам, маленький растрёпанный воробей. Было сразу видно, что он выскочил из жестокой драки.

Он закружился над сценой, ослеплённый сотнями огней, и все заметили, что в клюве у него что-то нестерпимо блестит, как будто хрустальная веточка.

Зал зашумел и стих. Дирижёр поднял руку и

остановил оркестр. В задних рядах люди начали вставать, чтобы увидеть, что происходит на сцене. Воробей подлетел к Золушке. Она протянула к нему руки, и воробей на лету бросил ей на ладони маленький хрустальный букет. Золушка дрожащими пальцами приколола его к своему платью.

Дирижёр взмахнул палочкой, оркестр загремел. Театральные огни задрожали от рукоплесканий. Воробей вспорхнул под купол зала, сел на люстру и начал чистить растрёпанные в драке перья.

Золушка кланялась и смеялась, и Маша, если бы не знала наверное, никогда бы не догадалась, что эта Золушка — её мама.

А потом, у себя в доме, когда погасили свет и поздняя ночь вошла в комнату и приказала всем спать, Маша сквозь сон спросила маму:

— Когда ты прикалывала букет, ты вспомнила о папе?

— Да, — ответила, помолчав, мама.

— А почему ты плачешь?

— Потому что радуюсь, что такие люди, как твой папа, бывают на свете.

— Вот и неправда! — пробормотала Маша. — От радости смеются.

— От маленькой радости смеются, — ответила

мама, — а от большой — плачут. А теперь спи!

Маша уснула. Уснула и Петровна. Мама подошла к окну. На ветке за окном спал Пашка. Тихо было в мире, и крупный снег, что падал и падал с неба, всё прибавлял тишины. И мама подумала, что вот так же, как снег, сыплются на людей счастливые сны и сказки.

Рассказы и повесть

Барсучий нос

Озеро около берегов было засыпано ворохами жёлтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась чёрной, как дёготь. Там мы ловили разноцветных окуней, вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далёкие облака и синий густой воздух.

По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звёзды.

У нас на стоянке горел костёр. Мы жгли его весь день и ночь напролёт, чтобы отгонять волков, — они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоил дым костра и весёлые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве, у костра, начал сер-

дито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. Картошка жарилась на сковороде, от неё шёл острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами пришёл на озеро мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночёвки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он всё замечал и рассказывал. Он был выдумщик, этот мальчик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины и переправлялись при свете ночной, небывалой радуги. Мы делали вид, что верили ему.

Всё, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над чёрными озёрами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы при-

тихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, — кто знает, что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый чёрный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с чёрными пронзительными глазками. Наконец показалась полосатая шкурка. Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжётся, но я опоздал: барсук прыгнул к сковородке и сунул в неё нос…

Запахло палёной кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.



На озере и в лесу началось смятение: без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожжённый нос.

Я не поверил. Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах — мшарах, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук. Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожжённый нос. Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.



Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.

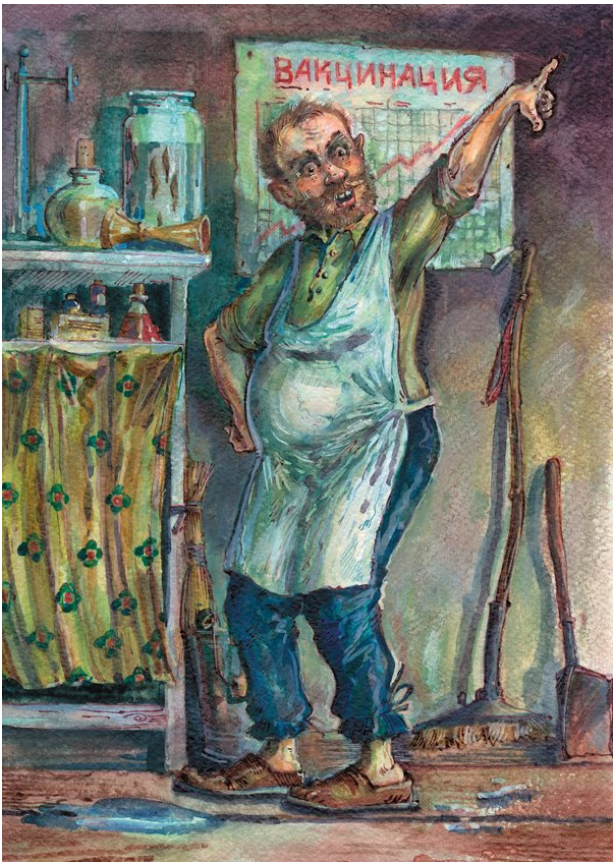
С тех пор озеро — оно называлось раньше Безымянным — мы прозвали Озером Глупого Барсука.

А через год я встретил на берегах этого озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.

Заячьи лапы

К ветеринару в наше село пришёл с Урженского озера Ваня Малявин и принёс завёрнутого в рваную ватную куртку маленького тёплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слёз глазами…


ВАКЦИНАЦИЯ

— Ты что, одурел? — крикнул ветеринар. — Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!

— А вы не лайтесь, это заяц особенный, — хриплым шёпотом сказал Ваня. — Его дед прислал, велел лечить.

— От чего лечить-то?

— Лапы у него пожжённые.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:

— Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком — деду будет закуска.

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слёзы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.

— Ты чего, малый? — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу. — Чего вы, сердешные, вдвоём слёзы льёте? Ай случилось что?

— Пожжённый он, дедушкин заяц, — сказал тихо Ваня. — На лесном пожаре лапы себе пожёг, бегать не может. Вот-вот, гляди, умрёть.

— Не умрёть, малый, — прошамкала Анисья. — Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несёт его в город к Карлу Петровичу.

Ваня вытер слёзы и пошёл лесами домой, на Урженское озеро. Он не шёл, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошёл стороной, на север, около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.

Заяц стонал.

Ваня нашёл по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.

— Ты чего, серый? — тихо спросил Ваня. — Ты бы поел.

Заяц молчал.

— Ты бы поел, — повторил Ваня, и голос его задрожал. — Может, пить хочешь?

Заяц повёл рваным ухом и закрыл глаза.

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес — надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.

Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже

две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень.



Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрёл в город. Ваня нёс зайца сзади.

Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.

Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.

На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился.

— Не то лошадь, не то невеста — шут их разберёт! — сказал он и сплюнул.

Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:

— Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш, специалист по детским болезням, уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?

Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.

— Это мне нравится! — сказал аптекарь. — Интересные пациенты завелись в нашем городе! Это мне замечательно нравится!

Он нервно снял пенсне, протёр, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.

— Почтовая улица, три! — вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрёпанную толстую книгу. — Три!

Дед с Ваней добрели до Почтовой улицы как раз вовремя — из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи, и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга; далеко за Полянами уже горел стог сена, зажжённый ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрёпанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился.

— Я не ветеринар, — сказал он и захлопнул

крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. — Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

— Что ребёнок, что заяц — всё одно, — упрямо пробормотал дед. — Всё одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!

Ещё через минуту Карл Петрович, старик с седыми взъерошенными бровями, волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.

Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушёл на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришёл длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.



Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпьё и понёс домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:

«Заяц не продажный, живая душа, пусть живёт на воле. При сём остаюсь

Ларион Малявин».

Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели и звёзды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, лязгал зубами и отскакивал — воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далёкого и

нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.

В августе дед пошёл охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.

Дед пошёл дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идёт прямо на него. Ветер перешёл в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шёл со скоростью тридцати километров в час.

Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени.

Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.

Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как ста-

рый лесной житель дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идёт огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!»

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед — оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понёс домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.

— Да, — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, — да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.

— Чем же ты провинился?

— А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарём и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял всё.

Последний чёрт

Дед ходил за дикой малиной на Глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись черти. В доказательство дед показывал порванные штаны: чёрт якобы клюнул деда в ногу, порвал рядно и набил на колене большую ссадину.

Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у чертей отродясь не было клювов, что черти на озёрах не водятся и, наконец, что после революции чертей вообще нет и быть не может — большевики извели их до последнего корня.

Но всё же бабы перестали ходить к Глухому озеру за ягодами. Им стыдно было признаться, что на двадцатом году революции они боятся чертей, и потому в ответ на упрёки бабы отвечали нараспев, пряча глаза:

— И-и-и, милай, ягод нынче нетути даже на Глухом озере. Отродясь такого пустого лета не случалось. Сам посуди: зачем нам зря ходить, лапти уродовать?

Деду не верили ещё и потому, что он был чудак

и неудачник. Звали деда «Десять про́центов». Кличка эта была для нас непонятна.

— За то меня так кличут, милок, — объяснил однажды дед, — что во мне всего десять про́центов прежней силы осталось. Свинья меня задрала. Ну и была ж свинья — прямо лев! Как выйдет на улицу, хрюкнет — кругом пусто! Бабы хватают ребят, кидают в избу. Мужики выходят на двор не иначе как с вилами, а которые робкие, те и вовсе не выходят. Прямо турецкая война! Крепко дралась та свинья.

Ну, слухай, что дальше было. Залезла та свинья ко мне в избу, сопит, зыркает на меня злым глазом. Я её, конечно, тяпнул костылём: «Иди, мол, милая, к лешему, ну тебя!» Тут оно и поднялось! Тут она на меня и кинулась! Сшибла меня с ног; я лежу, кричу в голос, а она меня рвёть, она меня терзаеть! Васька Жуков кричит: «Давай пожарную машину, будем её водой отгонять, потому ныне убивать свиней запрещено!» Народ толчётся, голосит, а она меня рвёть, она меня терзаеть! Насилу мужики меня цепами от неё отбили. В больнице я лежал. Доктор прямо удивился. «От тебя, говорит, Митрий, по медицинской видимости, осталось не более как десять про́центов». Теперь так и перебиваюсь на эти про́центы. Вот

она какая, жизня наша, милок! А свинью ту убили разрывной пулей: иная её не брала.

Вечером мы позвали деда к себе — расспросить о чёрте. Пыль и запах парного молока висели над деревенскими улицами — с лесных полян пригнали коров. Бабы кричали у калиток, заунывно и ласково скликая телят:

— Тялуш, тялуш, тялуш!..

Дед рассказал, что чёрта он встретил на протоке у самого озера. Там он кинулся на деда и так долбанул клювом, что дед упал в кусты малины, завизжал не своим голосом, а потом вскочил и бежал до самого Горелого болота.

— Чуть сердце не хряснуло. Вот какая получилась завёртка!

— А какой из себя этот чёрт?

Дед заскрёб затылок.

— Ну, вроде птица, — сказал он нерешительно. — Голос вредный, сиплый, будто с простуды. Птица — не птица, пёс его разберёт.

— Не сходить ли нам на Глухое озеро? Всё-таки любопытно, — сказал Рувим, когда дед ушёл, попив чаю с баранками.

— Тут что-то есть, — ответил я, — хотя этот дед и считается самым пустяковым стариком от Спас-Клепиков до Рязани.

Вышли на следующий же день. Я взял двустволку.

На Глухое озеро мы шли впервые и потому прихватили с собой провожатым деда. Он сначала отказывался, ссылаясь на свои «десять про́центов», потом согласился, но попросил, чтобы ему за это в колхозе выписали два трудовых дня. Председатель колхоза, комсомолец Лёня Рыжов, рассмеялся:

— Там видно будет! Ежели ты у баб этой экспедицией дурь из головы выбьешь, тогда выпишу. А пока шагай!

И дед, благословясь, зашагал. В дороге о чёрте рассказывал неохотно, больше помалкивал.

— А он ест что-нибудь, чёрт? — спрашивал, посмеиваясь, Рувим.

— Надо полагать, рыбкой помаленьку питается, по земле лазит, ягоды жрёт, — говорил, сморкаясь, дед. — Ему тоже промышлять чем-нибудь надо, даром что нечистая сила.

— А он чёрный?

— Поглядишь — увидишь, — отвечал загадочно дед. — Каким прикинется, таким себя и покажет.

Весь день мы шли сосновыми лесами. Шли без дорог, перебирались через сухие болота — мшары, где нога тонула по колено в сухих коричневых

мхах.

Жара густо настаивалась в хвое. Кричали медведки. На сухих полянах из-под ног дождём сыпались кузнечики. Устало никла трава, пахло горячей сосновой корой и сухой земляникой. В небе над верхушками сосен неподвижно висели ястребы.

Жара измучила нас. Лес был накалён, сух, и казалось, что он тихо тлеет от солнечного зноя. Даже как будто попахивало гарью. Мы не курили. Мы боялись, что от первой же спички лес вспыхнет и затрещит, как сухой можжевельник, и белый дым лениво поползёт к солнцу.

Мы отдыхали в густых чащах осин и берёз, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней.

Мы долго лежали на привалах и слушали, как шумят океанским прибоем вершины сосен, — высоко над головой дул медленный ветер. Он был, должно быть, очень горяч.

Только к закату мы вышли на берег озера. Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса глухой синевой. Едва заметно, будто капли воды, блестели первые звёзды. Утки с тяжёлым свистом летели на ночлег.

Озеро, замкнутое поясом непроходимых за-

рослей, поблёскивало внизу. По чёрной воде расплывались широкие круги: играла на закате рыба.

Ночь начиналась над лесным краем, долгие сумерки густели в чащах, и только костёр трещал и разгорался, нарушая лесную тишину.

Дед сидел у костра и скрёб пятернёй худую грудь.

— Ну, где же твой чёрт, Митрий? — спросил я.

— Тама, — дед неопределённо махнул рукой в заросли осинника. — Куда рвёшься? Утром искать будем. Нынче дело ночное, тёмное, — погодить надо.

На рассвете я проснулся. С сосен капал тёплый туман.

Дед сидел у костра и торопливо крестился. Мокрая его борода мелко дрожала.

— Ты чего, дед? — спросил я.

— Доходишься с вами до погибели! — пробормотал дед. — Слышь, кричит, анафема! Слышь? Буди всех!

Я прислушался. Спросонок ударила в озере рыба, потом пронёсся пронзительный и яростный крик.

— Уэк! — кричал кто-то. — Уэк! Уэк!

В темноте началась возня. Что-то живое тяжело

забилось в воде, и снова злой голос прокричал с торжеством:

— Уэк! Уэк!

— Спаси, владычица Троеручица! — бормотал, запинаясь, дед. — Слышь, как зубами кляцает? Дёрнуло меня с вами сюды переться, старого дурака!

С озера долетали странное щёлканье и деревянный стук, будто там дрались палками мальчишки.

Я растолкал Рувима.

— Ну, — сказал дед, — действуйте, как желаете. Я знать ничего не знаю. Ещё за вас отвечать доведётся. Ну вас к лешему!

Дед от страха совсем ошалел.

— Иди стреляй, — бормотал он сердито. — Совецко правительство тоже за это по головке не побалует. Нешто можно в чёрта стрелять? Ишь чего выдумали!

— Уэк! — отчаянно кричал чёрт.

Дед натянул на голову армяк и замолк.

Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце.

Я раздвинул кусты волчьей ягоды на берегу, вгляделся в озеро и медленно потянул ружьё.

— Что видно? — шёпотом спросил Рувим.

— Странно. Что за птица, никак не пойму.

Мы осторожно поднялись. На чёрной воде плавала громадная птица. Оперение её переливалось лимонным и розовым цветом. Головы не было видно, — она вся, по длинную шею, была под водой.

Мы оцепенели. Птица вытащила из воды маленькую голову величиною с яйцо, заросшую курчавым пухом. К голове был как будто приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком.

— Пеликан! — крикнул Рувим.

— Уэк! — предостерегающе ответил пеликан и посмотрел на нас красным глазом.

Из пеликаньего клюва торчал хвост толстого окуня. Пеликан тряс шеей, чтобы протолкнуть окуня в желудок.

Тогда я вспомнил о газете: в неё была завёрнута копчёная колбаса. Я бросился к костру, вытряхнул из рюкзака колбасу, расправил засаленную газету и прочёл объявление, набранное жирным шрифтом:

«Во время перевозки зверинца по узкоколейной железной дороге сбежала африканская птица пеликан. Приметы: перо розовое и жёлтое, боль-

шой клюв с мешком для рыбы, на голове пух. Птица старая, очень злая, не любит и бьёт детей. Взрослых трогает редко. О находке сообщить в зверинец, за приличное вознаграждение».

— Ну, — спросил я, — что будем делать? Стрелять жалко, а осенью он подохнет от голода.

— Дед сообщит в зверинец, — ответил Рувим. — И, кстати, заработает.

Мы пошли за дедом. Дед долго не мог понять, в чём дело. Он молчал, моргал глазами и всё скрёб худую грудь. Потом, когда понял, пошёл с опаской на берег смотреть чёрта.

— Вот он, твой леший, — сказал Рувим. — Гляди!

— И-и-и, милай… — Дед захихикал. — Да разве я что говорю! Ясное дело — не чёрт. Пущай живёт на воле, рыбку полавливает. А вам спасибо. Ослобонили народ от страха. Теперь девки сюда понапрут за ягодами — только держись! Шалая птица, сроду такой не видал.

Днём мы наловили рыбы и снесли её к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Он посмотрел на деда прищуренным глазом, как будто что-то стараясь припомнить. Дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разинул клюв, щёлкнул им с дере-

вянным стуком, крикнул «уэк» и начал отчаянно бить крыльями и притопывать утиной лапой. Со стороны было похоже, будто пеликан качал тяжёлый насос.

От костра полетели угли и искры.

— Чего это он? — испугался дед. — Чумовой, что ли?

— Рыбы просит, — объяснил Рувим.

Мы дали пеликану рыбу. Он проглотил её, потом снова начал накачивать крыльями воздух, приседать и топать ногой: клянчить рыбу.

— Пошёл, пошёл! — ворчал на него дед. — Бог подаст. Ишь размахался!

Весь день пеликан бродил вокруг нас, шипел и кричал, но в руки не давался.

К вечеру мы ушли. Пеликан влез на кочку, бил нам вслед крыльями и сердито кричал: «Уэк, уэк!» Вероятно, он был недоволен, что мы бросаем его на озере, и требовал, чтобы мы вернулись.

Через два дня дед поехал в город, нашёл на базарной площади зверинец и рассказал о пеликане. Из города приехал рябой скучный человек и забрал пеликана.

Дед получил от зверинца сорок рублей и купил на них новые штаны.

— Порты у меня — первый сорт, — говорил он и

оттягивал штанину. — Об моих портах разговор идёт до самой Рязани. Сказывают, даже в газетах печатали. Весь колхоз наш знаменитость получил через эту дуроломную птицу. Вот она какая, жизня наша, милок!

Золотой линь

Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на луговых озёрах. Мы знали это, но всё-таки пошли на Прорву.

Неприятности начались сейчас же за Чёртовым мостом.

Разноцветные бабы копнили сено. Мы решили их обойти стороной, но бабы нас заметили.

— Куда, соколики? — закричали и захохотали бабы. — Кто удит, у того ничего не будет!

— На Прорву подались, верьте мне, бабочки! — крикнула высокая и худая вдова, прозванная Грушей-пророчицей. — Другой пути у них нету, у горемычных моих!

Бабы нас изводили всё лето. Сколько бы мы ни ловили рыбы, они всегда говорили с жалостью:

— Ну что ж, на ушицу себе наловили — и то счастье. А мой Петька надысь десять карасей принёс. И до чего гладких — прямо жир с хвоста каплет!

Мы знали, что Петька принёс всего двух худых карасей, но молчали. С этим Петькой у нас были свои счёты: он срезал у Рувима английский крючок и выследил места, где мы прикармливали рыбу. За это Петьку по рыболовным законам

полагалось вздуть, но мы его простили.

Когда мы выбрались в некошеные луга, бабы стихли.

Сладкий конский щавель хлестал нас по груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный свет, затопивший рязанские дали, казался жидким мёдом. Мы дышали тёплым воздухом трав, вокруг нас гулко жужжали шмели и трещали кузнечики.

Тусклым серебром шумели над головой листья столетних ив. От Прорвы тянуло запахом кувшинок и чистой холодной воды. Мы успокоились, закинули удочки, но неожиданно из лугов приплёлся дед, по прозвищу «Десять про́центов».

— Ну, как рыбка? — спросил он, щурясь на воду, сверкавшую от солнца. — Ловится?

Всем известно, что на рыбной ловле разговаривать нельзя.

Дед сел, закурил махорку и начал разуваться. Он долго рассматривал рваный лапоть и шумно вздохнул:

— Изодрал лапти на покосе вконец. Не-ет, нынче клевать у вас не будет, нынче рыба заелась, — шут её знает, какая ей насадка нужна.

Дед помолчал. У берега сонно закричала лягушка.

— Ишь стрекочет, — пробормотал дед и взглянул на небо.

Тусклый розовый дым висел над лугом. Сквозь этот дым просвечивала бледная синева, а над седыми ивами висело жёлтое солнце.

— Сухомень! — вздохнул дед. — Надо думать, к вечеру ха-ароший дождь натянет.

Мы молчали.

— Лягва тоже не зря кричит, — объяснил дед, слегка обеспокоенный нашим угрюмым молчанием. — Лягва, милок, перед грозой завсегда тревожится, скачет куды ни попало. Надысь я ночевал у паромщика, уху мы с ним в казанке варили у костра, и лягва — кило в ней было весу, не меньше — сиганула прямо в казанок, там и сварилась. Я говорю: «Василий, остались мы с тобой без ухи», — а он говорит: «Чёрта ли мне в той лягве! Я во время германской войны во Франции был, и там лягву едят почём зря. Ешь, не пужайся». Так мы ту уху и схлебали.

— И ничего? — спросил я. — Есть можно?

— Скусная пища, — ответил дед, прищурился, подумал. — Хошь, я тебе пиджак из лыка сплету? Я сплёл, милок, из лыка цельную тройку — пиджак, штаны и жилетку — для Всесоюзной выставки. Супротив меня нет лучшего лапотника

на весь колхоз.

Дед ушёл только через два часа. Рыба у нас, конечно, не клевала.

Ни у кого в мире нет столько самых разнообразных врагов, как у рыболовов. Прежде всего — мальчишки. В лучшем случае они будут часами стоять за спиной и оцепенело смотреть на поплавок.

В худшем случае они начнут купаться поблизости, пускать пузыри и нырять, как лошади. Тогда надо сматывать удочки и менять место.

Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков, у нас были враги более серьёзные: подводные коряги, комары, ряска, грозы, ненастье и прибыль воды в озёрах и реках.

Ловить в кряжистых местах было очень заманчиво, там пряталась крупная и ленивая рыба. Брала она медленно и верно, глубоко топила поплавок, потом запутывала леску о корягу и обрывала её вместе с поплавком.

Тонкий комариный зуд приводил нас в трепет. Первую половину лета мы ходили все в крови и опухолях от комариных укусов.

В безветренные жаркие дни, когда в небе сутками стояли на одном месте всё те же пухлые, похожие на вату облака, в заводях и озёрах

появлялась мелкая водоросль, похожая на плесень, — ряска. Вода затягивалась липкой зелёной плёнкой, такой толстой, что даже грузило её не могло пробить.

Перед грозой рыба переставала клевать. Она боялась грозы, затишья, когда земля глухо дрожит от далёкого грома.

В ненастье и во время прибыли воды клёва не было.

Но зато как хороши были туманные и свежие утра, когда тени деревьев лежали далеко на воде и под самым берегом ходили стаями неторопливые пучеглазые голавли! В такие утра стрекозы любили садиться на перяные поплавки, и мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг медленно и косо шёл в воду, стрекоза взлетала, замочив свои лапки, а на конце лески туго ходила по дну сильная и весёлая рыба.

Как хороши были краснопёрки, падавшие живым серебром в густую траву, прыгавшие среди одуванчиков и кашки! Хороши были закаты в полнеба над лесными озёрами, тонкий дым облаков, холодные стебли лилий, треск костра, кряканье диких уток.

Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза. Она

долго ворчала в лесах, потом поднялась к зениту пепельной стеной, и первая молния хлестнула в далёкие стога.

Мы просидели в палатке до ночи. В полночь дождь стих. Мы разожгли большой костёр и обсохли.

В лугах печально кричали ночные птицы, и белая звезда переливалась над Прорвой в предутреннем небе.

Я задремал. Разбудил меня крик перепела.

— Пить пора! Пить пора! Пить пора! — кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и крушины.

Мы спустились с крутого берега к воде, цепляясь за корни и травы. Вода блестела, как чёрное стекло. На песчаном дне были видны дорожки, проложенные улитками.

Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его тихий призывный свист. Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три раза значил: «Бросайте всё и идите сюда».

Я осторожно подошёл к Рувиму. Он молча показал мне на поплавок. Клевала какая-то странная рыба. Поплавок качался, осторожно ёрзал то вправо, то влево, дрожал, но не тонул.

Он стал наискось, чуть окунулся и снова вынырнул.

Рувим застыл, — так клюёт только очень крупная рыба…

Поплавок быстро пошёл в сторону, остановился, выпрямился и начал медленно тонуть.

— Топит, — сказал я. — Тащите!

Рувим подсёк. Удилище согнулось в дугу, леска со свистом врезалась в воду. Невидимая рыба туго и медленно водила леску по кругам. Солнечный свет упал на воду сквозь заросли вётел, и я увидел под водой яркий бронзовый блеск: это изгибалась и пятилась в глубину пойманная рыба. Мы вытащили её только через несколько минут. Это оказался громадный ленивый линь со смуглой золотой чешуёй и чёрными плавниками. Он лежал в мокрой траве и медленно шевелил толстым хвостом.

Рувим вытер пот со лба и закурил.

Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в деревню.

Рувим нёс линя. Он тяжело свисал у него с плеча. С линя капала вода, а чешуя сверкала так ослепительно, как золотые купола бывшего монастыря. В ясные дни купола были видны за тридцать километров.

Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Бабы, завидев нас, бросили работу и смотрели на линя, прикрыв ладонями глаза, как смотрят на нестерпимое солнце.

Бабы молчали. Потом лёгкий шёпот восторга прошёл по их пёстрым рядам.

Мы шли через строй баб спокойно и независимо. Только одна из них вздохнула и, берясь за грабли, сказала нам вслед:

— Красоту-то какую понесли — глазам больно!

Мы не торопясь пронесли линя через всю деревню. Старухи высовывались из окон и глядели нам в спину. Мальчишки бежали следом и канючили:

— Дядь, а дядь, где пымал? Дядь, а дядь, на што клюнуло?

Дед «Десять про́центов» пощёлкал линя по золотым твёрдым жабрам и засмеялся:

— Ну, теперь бабы языки подожмут! А то у них всё хаханьки да хиханьки. Теперь дело иное, серьёзное.

С тех пор мы перестали обходить баб. Мы шли прямо на них, и бабы нам ласково кричали:

— Ловить вам не переловить! Не грех бы и нам рыбки принести!

Так восторжествовала справедливость.

Кот-ворюга

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось, наконец, установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал всё: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.

Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля всё равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота.



Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронёсся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями.

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нём было десять жирных окуней, пойманных на Прорве.

Это было уже не воровство, а грабёж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на берёзу.

Мы начали трясти берёзу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл.

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с берёзы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нём только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили

на берегах бесчисленных протоков и озёр. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях.

Чтобы пройти к берегу озёр, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи жёлтой цветочной пылью.

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожжённые солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота.

Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления.

Прошёл час, два, три… Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Лёнька, сын деревенского сапожника. Лёнька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота.

Лёнька взял шёлковую леску, привязал к ней

за хвост пойманную днём плотицу и закинул её через лаз в подполье.

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щёлканье — кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мёртвой хваткой. Лёнька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Лёнька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза.

Лёнька схватил кота за шиворот и поднял над землёй. Мы впервые его рассмотрели как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! — сказал я.

— Не поможет, — сказал Лёнька. — У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует.

Кот ждал, зажмурив глаза.

Мы последовали этому совету, втащили кота

в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану.

Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звёзды зелёными нахальными глазами.

После умывания он долго фыркал и тёрся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрёт себе шерсть на затылке.

Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать.

На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.

Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склёвывать из тарелок гречневую кашу.

Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.

Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный Горлачом.

Кот нёсся за ним на трёх лапах, а четвёртой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу.

После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошёл.

С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотнёй прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он тёрся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.

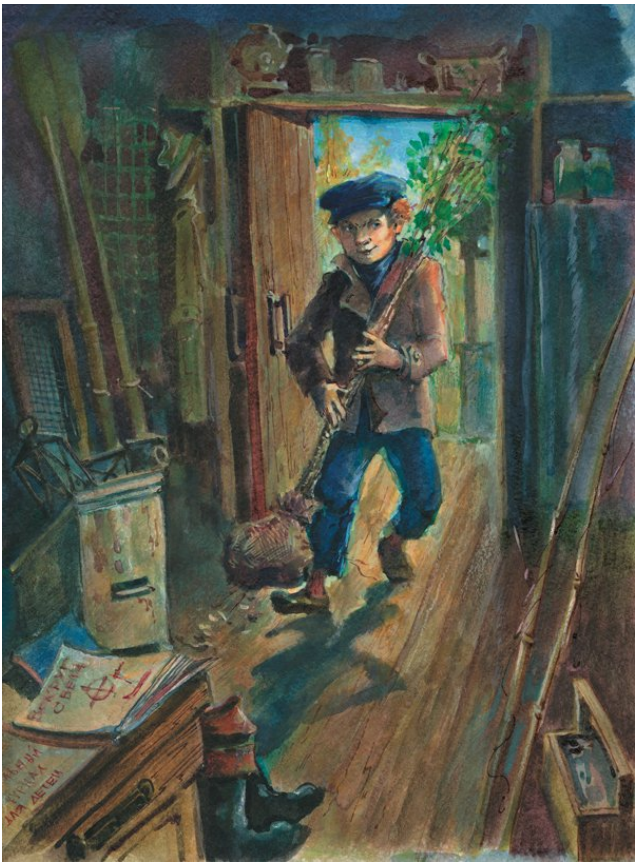
Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

Подарок

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то кошёлку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так — погостить у нас, послушать разговоры и почитать журналы «Вокруг света».

Толстые переплётные томы этого журнала валялись в чулане вместе с вёслами, фонарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от сухого дерева большими кусками, и дерево под краской пахло старым воском.



Однажды Ваня принёс маленькую выкопанную с корнем берёзу. Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей.

— Это вам, — сказал он и покраснел. — Подарок. Посадите её в деревянную кадку и поставьте в тёплой комнате, — она всю зиму будет зелёная.

— Зачем ты её выкопал, чудак? — спросил Рувим.

— Вы же говорили, что вам жалко лета, — ответил Ваня. — Дед меня и надоумил. «Сбегай, говорит, на прошлогоднюю гарь, там берёзы-двухлетки растут, как трава, — проходу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима). Он о лете беспокоился, вот и будет ему на студёную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зелёный лист, когда на дворе снег валит, как из мешка».

— Я не только о лете, я ещё больше об осени жалею, — сказал Рувим и потрогал тоненькие листья берёзы.

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землёй и пересадили в него маленькую берёзку. Ящик поставили в самой светлой и тёплой комнате у окна, и через день опустившиеся ветки берёзы поднялись, вся она повеселела, и даже листья у неё шумели, когда сквозной ветер

врывался в комнату и в сердцах хлопал дверью.

В саду уже поселилась осень, но листья нашей берёзы оставались зелёными и живыми. Горели тёмным пурпуром клёны, порозовел бересклет, ссыпался дикий виноград на беседке. Даже кое-где на берёзах в саду появились жёлтые пряди, как первая седина у нестарого человека. Но берёза в комнате, казалось, всё молодела. Мы не замечали у неё никаких признаков увядания.

Как-то ночью пришёл первый заморозок. Он надышал холодом на стёкла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звёзды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в тёплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука: пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой: сон сразу прошёл. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась всё прозрачнее, сквозь неё уже были видны далёкие и нежные страны золотых и розовых облаков.

Ветра не было, но в саду всё падали и падали

листья. Берёзы за одну ночь пожелтели до самых верхушек, и листья сыпались с них частым и печальным дождём.

Я вернулся в комнаты: в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в кадке маленькая берёза, и я вдруг заметил — почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.

Комнатная теплота не спасла берёзу. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах.

Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни берёза будет зеленеть в комнатах, освещённых белым светом и багровым пламенем весёлых печей. Последняя память о лете исчезла.

Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зелёную листву на берёзе.

— Это закон, — сказал он. — Закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей — и от тяжести снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки, и оттого, что к осени в лист-

ве накапливалось бы много вредных для дерева солей, и, наконец, оттого, что листья продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мёрзлая земля не давала бы её корням дерева, и дерево неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды.

А дед Митрий, по прозвищу «Десять про́центов», узнав об этой маленькой истории с берёзой, истолковал её по-своему.

— Ты, милок, — сказал он Рувиму, — поживи с моё, тогда и спорь. А то со мной всё споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя ещё времени не хватило. Нам, старым, думать способнее, у нас заботы мало — вот и прикидываем, что к чему на земле притёсано и какое имеет объяснение. Взять, скажем, эту берёзу. Ты мне про лесничего не говори, я наперёд знаю всё, что он скажет. Лесничий мужик хитрый, он когда в Москве жил, так, говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет?

— Может, — ответил Рувим.

— Может, может! — передразнил его дед. — А ты этот электрический ток видал? Как же ты его видал, когда он видимости не имеет, вроде как воздух? Ты про берёзу слушай. Промеж людей есть дружба или нет? То-то что есть. А люди заносятся. Думают, что дружба им одним дадена,

чванятся перед всяким живым существом. А дружба — она, брат, кругом, куда ни глянешь. Уж что говорить, корова с коровой дружит и зяблик с зябликом. Убей журавля, так журавлиха исчахнет, исплачется, места себе не найдёт. И у всякой травы и дерева тоже, надо быть, дружба иногда бывает. Как же твоей берёзе не облететь, когда все её товарки в лесах облетели? Какими глазами она весной на них взглянет, что скажет, когда они зимой исстрадались, а она грелась у печки, в тепле, да в сытости, да в чистоте? Тоже совесть надо иметь.

— Ну, это ты, дед, загнул, — сказал Рувим. — С тобой не столкуешься.

Дед захихикал.

— Ослаб? — спросил он язвительно. — Сдаёшься? Ты со мной не заводись, — бесполезное дело.

Дед ушёл, постукивая палкой, очень довольный, уверенный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего.

Берёзу мы высадили в сад, под забор, а её жёлтые листья собрали и засушили между страниц «Вокруг света».

Этим кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.

Жильцы старого дома

Неприятности начались в конце лета, когда в старом деревенском доме появилась кривоногая такса Фунтик. Фунтика привезли из Москвы.

Однажды чёрный кот Степан сидел, как всегда, на крыльце и, не торопясь, умывался. Он лизал растопыренную пятерню, потом, зажмурившись, тёр изо всей силы обслюнённой лапой у себя за ухом. Внезапно Степан почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся и замер с лапой, заложенной за ухо. Глаза Степана побелели от злости. Маленький рыжий пёс стоял рядом. Одно ухо у него завернулось. Дрожа от любопытства, пёс тянулся мокрым носом к Степану — хотел обнюхать этого загадочного зверя.



«Ах, вот как!»

Степан изловчился и ударил Фунтика по вывернутому уху.

Война была объявлена, и с тех пор жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Нечего было и думать о том, чтобы лениво тереться мордой о косяки рассохшихся дверей или валяться на солнце около колодца. Ходить приходилось с опаской, на цыпочках, почаще оглядываться и всегда выбирать впереди какое-нибудь дерево или забор, чтобы вовремя удрать от Фунтика.

У Степана, как и у всех котов, были твёрдые привычки. Он любил по утрам обходить заросший чистотелом сад, гонять со старых яблонь воробьёв, ловить жёлтых бабочек-капустниц и точить когти на сгнившей скамье. Но теперь приходилось обходить сад не по земле, а по высокому забору, неизвестно зачем обтянутому заржавленной колючей проволокой и к тому же такому узкому, что временами Степан долго думал, куда поставить лапу.

Вообще в жизни Степана бывали разные неприятности. Однажды он украл и съел плотицу вместе с застрявшим в жабрах рыболовным крючком — и всё сошло, Степан даже не заболел. Но никогда ещё ему не приходилось унижаться

из-за кривоногой собаки, похожей на крысу. Усы у Степана вздрагивали от негодования.

Один только раз за всё лето Степан, сидя на крыше, усмехнулся.



Во дворе, среди курчавой гусиной травы, стояла деревянная миска с мутной водой — в неё бросали корки чёрного хлеба для кур. Фунтик подошёл к миске и осторожно вытащил из воды большую размокшую корку.

Сварливый голенастый петух, прозванный Горлачом, пристально посмотрел на Фунтика одним глазом. Потом повернул голову и посмотрел другим глазом. Петух никак не мог поверить, что здесь, рядом, среди бела дня происходит грабёж.

Подумав, петух поднял лапу, глаза его налились кровью, внутри у него что-то заклокотало, как будто в петухе гремел далёкий гром. Степан знал, что это значит, — петух разъярился.

Стремительно и страшно, топая мозолистыми лапами, петух помчался на Фунтика и клюнул его в спину. Раздался короткий и крепкий стук. Фунтик выпустил хлеб, прижал уши и с отчаянным воплем бросился в отдушину под дом.

Петух победно захлопал крыльями, поднял густую пыль, клюнул размокшую корку и с отвращением отшвырнул её в сторону — должно быть, от корки пахло псиной.

Фунтик просидел под домом несколько часов и только к вечеру вылез и сторонкой, обходя петуха, пробрался в комнаты. Морда у него была

в пыльной паутине, к усам прилипли высохшие пауки.

Но гораздо страшнее петуха была худая чёрная курица. На шее у неё была накинута шаль из пёстрого пуха, и вся она походила на цыганку-гадалку. Купили эту курицу напрасно. Недаром старухи по деревне говорили, что куры делаются чёрными от злости.

Курица эта летала, как ворона, дралась и по нескольку часов могла стоять на крыше и без перерыва кудахтать. Сбить её с крыши, даже кирпичом, не было возможности. Когда мы возвращались из лугов или из леса, то издалека была уже видна эта курица — она стояла на печной трубе и казалась вырезанной из жести.

Нам вспоминались средневековые харчевни — о них мы читали в романах Вальтера Скотта. На крышах этих харчевен торчали на шесте жестяные петухи или куры, заменявшие вывеску.

Так же как в средневековой харчевне, нас встречали дома бревенчатые тёмные стены, законопаченные жёлтым мхом, пылающие поленья в печке и запах тмина. Почему-то старый дом пропах тмином и древесной трухой.

Романы Вальтера Скотта мы читали в пасмурные дни, когда мирно шумел по крышам и в саду

тёплый дождь. От ударов маленьких дождевых капель вздрагивали мокрые листья на деревьях, вода лилась тонкой и прозрачной струёй из водосточной трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зелёная лягушка. Вода лилась ей прямо на голову, но лягушка не двигалась и только моргала.

Когда не было дождя, лягушка сидела в лужице под рукомойником. Раз в минуту ей капала на голову из рукомойника холодная вода. Из тех же романов Вальтера Скотта мы знали, что в Средние века самой страшной пыткой было вот такое медленное капанье на голову ледяной воды, и удивлялись лягушке.

Иногда по вечерам лягушка приходила в дом. Она прыгала через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы.

Трудно было понять, чем этот огонь так привлекал лягушку. Но потом мы догадались, что лягушка приходила смотреть на яркий огонь так же, как дети собираются вокруг неубранного чайного стола послушать перед сном загадочную сказку. Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоравших в ламповом стекле зелёных мошек. Должно быть, он казался лягушке большим алмазом, где, если долго всматриваться, можно

увидеть в каждой грани целые страны с золотыми водопадами и радужными звёздами.

Лягушка так увлекалась этой сказкой, что её приходилось щекотать палкой, чтобы она очнулась и ушла к себе, под сгнившее крыльцо, — на его ступеньках ухитрялись расцветать одуванчики.



Во время дождя кое-где протекала крыша. Мы ставили на пол медные тазы. Ночью вода особенно звонко и мерно капала в них, и часто этот звон совпадал с громким тиканьем ходиков.

Ходики были очень весёлые — разрисованные пышными розанами и трилистниками. Фунтик каждый раз, когда проходил мимо них, тихо ворчал — должно быть, для того, чтобы ходики знали, что в доме есть собака, были настороже и не позволяли себе никаких вольностей — не убегали вперёд на три часа в сутки или не останавливались без всякой причины.

В доме жило много старых вещей. Когда-то давно эти вещи были нужны обитателям дома, а сейчас они пылились и рассыхались на чердаке, и в них копошились мыши.

Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и среди разбитых оконных рам и занавесей из мохнатой паутины находили то ящик от масляных красок, покрытый разноцветными окаменелыми каплями, то сломанный перламутровый веер, то медную кофейную мельницу времён севастопольской обороны, то огромную тяжёлую книгу с гравюрами из древней истории, то, наконец, пачку переводных картинок.

Мы переводили их. Из-под размокшей бумаж-

ной плёнки появлялись яркие и липкие виды Везувия, итальянские ослики, убранные гирляндами роз, девочки в соломенных шляпах с голубыми атласными лентами, играющие в серсо, и фрегаты, окружённые пухлыми мячиками порохового дыма.

Как-то на чердаке мы нашли деревянную чёрную шкатулку. На крышке её медными буквами была выложена английская надпись: «Эдинбург. Шотландия. Делал мастер Гальвестон».

Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с неё пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук.

Это была музыкальная шкатулка. Мы завели её, но она не играла. Напрасно мы нажимали на спинки жуков, мух и стрекоз — шкатулка была испорчена.

За вечерним чаем мы заговорили о таинственном мастере Гальвестоне. Все сошлись на том, что это был весёлый пожилой шотландец в клетчатом жилете и кожаном фартуке. Во время работы, обтачивая в тисках медные валики, он, наверное, насвистывал песенку о почтальоне, чей рог поёт в туманных долинах, и девушке, собирающей

хворост в горах. Как все хорошие мастера, он разговаривал с теми вещами, которые делал, и рассказывал им их будущую жизнь. Но, конечно, он никак не мог догадаться, что эта чёрная шкатулка попадёт из-под бледного шотландского неба в пустынные леса за Окой, в деревню, где только одни петухи поют, как в Шотландии, а всё остальное совсем не похоже на эту далёкую северную страну.

С тех пор мастер Гальвестон стал как бы одним из невидимых обитателей старого деревенского дома. Порой нам даже казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда он невзначай поперхнётся дымом из трубки. А когда мы что-нибудь сколачивали — стол в беседке или новую скворечню — и спорили, как держать фуганок или пригнать одну к другой две доски, то часто ссылались на мастера Гальвестона, будто он стоял рядом и, прищурив серый глаз, насмешливо смотрел на нашу возню. И все мы напевали последнюю любимую песенку Гальвестона:

Прощай, земля, – корабль уходит в море!

Прощай навек, мой тёплый отчий дом...

Шкатулку поставили на стол, рядом с цветком герани, и в конце концов забыли о ней.

Но как-то осенью, поздней осенью, в старом и гулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молотками по колокольчикам, и из этого чудесного звона возникла и полилась мелодия:

В милые горы

Ты возвратишься…

Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка. В первую минуту мы испугались, и даже Фунтик вскочил и слушал, осторожно подымая то одно, то другое ухо. Очевидно, в шкатулке соскочила какая-нибудь пружина.



Шкатулка играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном, и даже ходики притихли от изумления.

Шкатулка проиграла все свои песни, замолчала, и как мы ни бились, но заставить её снова играть мы не смогли.

Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там в пустых нетопленых комнатах, и может быть, в непроглядные и тихие ночи она снова просыпается и играет, но её уже некому слушать, кроме пугливых мышей.

Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам её не просвистел пожилой скворец, — он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой где-то страшно далеко, в густых лесах на берегу Нигера, скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.

Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склёвывали крошки. У синиц

были белые пушистые щёки, и когда синицы все сразу клевали, то было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков.

Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтем по стакану, сливался в весёлую мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик.

Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика, мастера Гальвестона и скворца, были ещё приручённая дикая утка, ёж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дар Валдая» и барометр, всегда показывавший «великую сушь». О них придётся рассказать в другой раз — сейчас уже поздно.

Но если после этого маленького рассказа вам приснится ночная весёлая игра музыкального ящика, звон дождевых капель, падающих в медный таз, ворчанье Фунтика, недовольного ходиками, и кашель добряка Гальвестона — я буду думать, что рассказал вам всё это не напрасно.

Корзина с еловыми шишками

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелёными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живёт, как птица пересмешник, весёлое эхо. Оно только и ждёт, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать всё золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от

птичьего свиста.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил Григ.

— Дагни Педерсен, — вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

— Вот беда! — сказал Григ. — Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

— У меня есть старая мамина кукла, — ответила девочка. — Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у неё зеленоватые и в них поблёскивает огоньками золотая листва.

— А теперь она спит с открытыми глазами, — печально добавила Дагни. — У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

— Слушай, Дагни, — сказал Григ, — я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

— Ой, как долго!

— Понимаешь, мне нужно её ещё сделать.

— А что это такое?

— Узнаешь потом.

— Разве за всю свою жизнь, — строго спросила Дагни, — вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

— Да нет, это не так, — неуверенно возразил он, — Я сделаю её, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Я не разобью, — умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. — И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с неё пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни», — подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

— Ты ещё маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты её едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чём-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжёлая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо

больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

— Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп, — ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: — Разве вы не зайдёте к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять её в руки.

— Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошёл в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из неё вываливались шишки.

«Я напишу музыку, — решил Григ. — На заглавном листе я прикажу напечатать: "Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет"».

В Бергене всё было по-старому. Всё, что могло приглушить звуки — ковры, портьеры и мягкую мебель, — Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нём могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож

на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Если человек был наделён воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи — от рокота северного океана, что катил волны из мглы, и ветра, что высвистывал над ними свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную куклу.

Рояль мог петь обо всём — о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и чёрные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине ещё долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сёстрами.

Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок.

Становилось слышно, как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждёт и надо бы поторопиться, чтобы сделать всё, что задумано. Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных

стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошёл снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык.

Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья.

Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелёными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо», — говорит она, сама ещё не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце, — говорит ей Григ. — Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвёл белый цветок и наполнил всё твоё существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодёжи жизнь, работу, талант. Отдал всё без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни.

Ты — белая ночь с её загадочным светом. Ты — счастье. Ты — блеск зари. От твоего голоса

вздрагивает сердце.

Да будет благословенно всё, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».

Григ думал так и играл обо всём, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щёлку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся золотыми ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол. Около её босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил её в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал её ещё девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой с тяжёлыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится.

Кто знает, что ждёт Дагни в будущем? Может быть, честный и любящий, но скуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в деревенской лавке? Или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене?

Магда работала театральной портнихой. Муж её Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатушке под крышей театра. Оттуда был виден пёстрый от морских флагов залив и памятник Ибсену.

Пароходы весь день покрикивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса, что, по его словам, безошибочно знал, кто гудит — «Нордерней» из Копенгагена, «Шотландский певец» из Глазго или «Жанна д'Арк» из Бордо.

В комнате у тётушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шёлка, тюля, лент,

кружев, старинных фетровых шляп с чёрными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потёртых на сгибе. Всё это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить.

На стенах висели картинки, вырезанные из книг и журналов: кавалеры времён Людовика XIV, красавицы в кринолинах, рыцари, русские женщины в сарафанах, матросы и викинги с дубовыми венками на головах.

В комнату надо было подыматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком от позолоты.

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим тётушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это «наседкой» и сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но всё же тётушка Магда настояла на том, что-

бы пойти для разнообразия на концерт.

Нильс против этого не спорил. «Музыка, — сказал он, — это зеркало гения».

Нильс любил выражаться возвышенно и туманно. О Дагни он говорил, что она похожа на первый аккорд увертюры. А у Магды, по его словам, была колдовская власть над людьми. Выражалась она в том, что Магда шила театральные костюмы. А кто же не знает, что человек каждый раз, когда надевает новый костюм, совершенно меняется. Вот так оно и выходит, что один и тот же актёр вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником, завтра будет королевским шутом, а послезавтра — народным героем.

— Дагни, — кричала в таких случаях тётушка Магда, — заткни уши и не слушай эту ужасную болтовню! Он сам не понимает, что говорит, этот чердачный философ!

Был тёплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть своё единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная

его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в чёрном и, наоборот, в тёмные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела чёрное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав — ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и её длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат.

— Посмотри, Магда, — сказал вполголоса дядюшка Нильс, — Дагни так хороша, будто идёт на первое свидание.

— Вот именно! — ответила Магда. — Что-то я не видела около себя безумного красавца, когда ты пришёл на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун.

И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову.

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца.

Несмотря на вечер, ни дирижёр, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в

листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту.

Дагни впервые слышала симфоническую музыку. Она произвела на неё странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал её имя.

— Это ты меня звал, Нильс? — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на неё, прижав ко рту платок, тётушка Магда.

— Что случилось? — спросила Дагни.

Магда схватила её за руку и прошептала:

— Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

— Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвящённая дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет!

Дагни вздохнула так глубоко, что у неё заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слёзы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у неё шумела буря. Потом она, наконец, услышала, как поёт ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается, как эхо, струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был её лес, её родина! Её горы, песни рожков, шум её моря!

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке — в её окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой высокий человек, что помог ей донести до дому корзину

с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет.

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила всё пространство между землёй и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась лёгкая рябь. Сквозь неё светили звёзды.

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как золотая корона в волосах сказочной доброй волшебницы.

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье, — говорил он. — Ты — блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом всё разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на неё. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! — думала Дагни. — Зачем?» Если бы можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слёз щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю… — ответила бы Дагни. — За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек».

Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шёл Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни.

Сумрак ночи ещё лежал над городом. Но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет.

Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне, без единого всплеска.

Дагни сжала руки и застонала от неясного ещё ей самой, но охватившего всё её существо чувства красоты этого мира.

— Слушай, жизнь, — тихо сказала Дагни, — я люблю тебя.

И она засмеялась, глядя широко открытыми

глазами на огни пароходов. Они медленно качались в прозрачной серой воде.

Нильс, стоявший поодаль, услышал её смех и пошёл домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что её жизнь не пройдёт даром.

Мещёрская сторона
(повесть)
Обыкновенная земля

В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но всё же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен — так же, как картины Левитана. Но в нём, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и всё незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы.

Что можно увидеть в Мещёрском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поёмные и лесные озёра, заросшие чёрной кугой, стога, пахнущие сухим и тёплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму.

Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в неё и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шёл холодный дождь и ветер налетал косыми ударами.

В Мещёрском крае можно увидеть сосновые

боры, где так торжественно и тихо, что бубенчик-«болтун» заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам.

В Мещёрском крае можно увидеть лесные озёра с тёмной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звёзды.

Что можно услышать в Мещёрском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам — разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа.

Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом с каждым днём этот край делается всё богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории.

Я нарушил обычай географов. Почти все географические книги начинаются одной и той же фразой: «Край этот лежит между такими-то градусами восточной долготы и северной широты и граничит на юге с такой-то областью, а на севере — с такой-то».

Я не буду называть широт и долгот Мещёрского края. Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком «великого пояса хвойных лесов». Он тянулся некогда от Полесья до Урала. В него входили леса: Черниговские, Брянские, Калужские, Мещёрские, Мордовские и Керженские. В этих лесах отсиживалась от татарских набегов древняя Русь.

Первое знакомство

Впервые я попал в Мещёрский край с севера, из Владимира. За Гусь-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времён Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище: «мерин». Он и вправду был похож на старого мерина. На закруг-

лениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхавшегося «мерина». Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны.

Пассажиры с вещами сидели на площадках — вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя старуха.

Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая «козьи ножки» и поплёвывая, объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне.

Узкоколейка в Мещёрских лесах — самая неторопливая железная дорога в Союзе.

Станции завалены смолистыми брёвнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами.

На станции Пилево в вагон влез косматый дед. Он перекрестился в угол, где дребезжала круглая чугунная печка, вздохнул и пожаловался в пространство:

— Чуть что, сейчас берут меня за бороду — езжай в город, подвязывай лапти. А того нет в соображении, что, может, ихнее это дело копейки

не стоит. Посылают меня до музею, где советское правительство собирает карточки, прейскуранты, всё такое прочее. Посылают с заявлением.

— Чего брешешь?

— Ты гляди — вот!

Дед вытащил измятую бумажку, сдул с неё махру и показал бабе-соседке.

— Манька, прочти, — сказала баба девчонке, тёршейся носом об окно.

Манька обтянула платье на исцарапанных коленках, подобрала ноги и начала читать хриплым голосом:

— «Собчается, что в озере живут незнакомые птицы, громадного росту, полосатые, всего три; неизвестно, откуль залетели, — надо бы взять живьём для музею, а потому присылайте ловцов».

— Вот, — сказал дед горестно, — за каким делом теперь старикам кости ломают. А всё Лёшка-комсомолец. Язва — страсть! Тьфу!

Дед плюнул. Баба вытерла круглый рот концом платка и вздохнула. Паровоз испуганно посвистывал, леса гудели и справа и слева, бушуя, как озёра. Хозяйничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадёжно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках.

— Вот оно, существование наше, — повторил дед. — Летошний год гоняли меня в музею, сегодняшний год опять!

— Чего в летошний год нашли? — спросила баба.

— Торчак!

— Чегой-то?

— Торчак. Ну, кость древнюю. В болоте она валялась. Вроде олень. Роги — с этот вагон. Прямо страсть. Копали его цельный месяц. Вконец измучился народ.

— На кой он сдался? — спросила баба.

— Ребят по ём будут учить.

Об этой находке в «Исследованиях и материалах областного музея» сообщалось следующее:

«Скелет уходил в глубь трясины, не давая опоры для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации (размачивания) костей. Кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твёрдость костей восстанавливалась».

Был найден скелет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в два с по-

ловиной метра.

С этой встречи с косматым дедом началось моё знакомство с Мещёрой. Потом я услышал много рассказов и о зубах мамонта, и о кладах, и о грибах величиной с человеческую голову. Но этот первый рассказ в поезде запомнился мне особенно резко.

Старинная карта

С большим трудом я достал карту Мещёрского края. На ней была пометка: «Карта составлена по старинным съёмкам, произведённым до 1870 года». Карту эту мне пришлось исправлять самому. Изменились русла рек. Там, где на карте были болота, кое-где уже шумел молодой сосновый лес; на месте иных озёр оказались трясины.

Но всё же пользоваться этой картой было надёжнее, чем заниматься расспросами местных жителей. С давних пор так уж повелось у нас на Руси, что никто столько не напутает, когда объясняет дорогу, как местный житель, особенно если он человек разговорчивый.

— Ты, милый человек, — кричит местный житель, — других не слухай! Они тебе такого наговорят, что ты жизни будешь не рад. Ты меня

одного слухай, я эти места наскрозь знаю. Иди до околицы, увидишь по левой руке избу-пятистенку, возьми от той избы на правую руку по стёжке через пески, дойдёшь до Прорвы и вали, милый, край Прорвы, вали, не сумлевайся, до самой до горелой ивы. От неё возьмёшь чуть-чуть к лесу, мимо Музги, а за Музгой подавайся круто к холмищу, а за холмищем дорога известная — через мшары до самого озера.

— А сколько километров?

— А кто его знает? Может, десять, а может, и все двадцать. Тут километры, милый, немереные.

Я пытался следовать этим советам, но всегда или горелых ив оказывалось несколько, или не было никакого приметного холмища, и я, махнув рукой на рассказы туземцев, полагался только на собственное чувство направления. Оно почти никогда меня не обманывало.

Туземцы всегда объясняли дорогу со страстью, с неистовым увлечением. Меня это вначале забавляло, но как-то мне самому пришлось объяснять дорогу на озеро Сегден поэту Симонову, и я поймал себя на том, что рассказывал ему о приметах этой запутанной дороги с такой же страстью, как и туземцы.

Каждый раз, когда объясняешь дорогу, будто

снова проходишь по ней, по всем этим привольным местам, по лесным просёлкам, усеянным цветами бессмертника, и снова испытываешь лёгкость на душе. Эта лёгкость всегда приходит к нам, когда путь далёк и нет на сердце забот.

Несколько слов о приметах

Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их — очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом — каждую осень встречаешь всё тот же огненный куст рябины за Лариным прудом или всё ту же зарубку, сделанную тобой на сосне. С каждым летом зарубка всё сильнее заплывает твёрдой золотистой смолой.

Приметы на дорогах — это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время.

Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет эмалированная синяя табличка с названием улицы. Время узнаётся не по высоте солнца, не по положению

созвездий и даже не по петушиным крикам, а по часам. Предсказания погоды передаются по радио. В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. Но стоит провести две-три ночи в лесу, и снова обостряется слух, зорче делается глаз, тоньше обоняние.

Приметы связаны со всем: с цветом неба, с росой и туманами, с криком птиц и яркостью звёздного света.

В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть приметы простые и сложные. Самая простая примета — это дым костра. То он подымается столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного костра, к горьковатому запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу присоединяется ещё и знание завтрашней погоды.

Глядя на дым, можно определённо сказать, будет ли завтра дождь, ветер или снова, как сегодня, солнце подымется в глубокой тишине, в синих прохладных туманах. Безветрие и теплоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что даже блестит ночью, отражая свет звёзд. И чем обильнее роса, тем жарче будет

завтрашний день.

Это всё очень несложные приметы. Но есть приметы сложные и точные. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется близким, до горизонта как будто не больше километра. Это признак будущей ясной погоды.

Иногда в безоблачный день вдруг перестаёт брать рыба. Реки и озёра мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и длительного ненастья. Через день-два солнце взойдёт в багровой зловещей мгле, а к полудню чёрные облака почти коснутся земли, задует сырой ветер и польются томительные, нагоняющие сон обложные дожди.

Возвращение к карте

Я вспомнил о приметах и отвлёкся от карты Мещёрского края.

Изучение незнакомого края всегда начинается с карты. Это занятие не менее интересное, чем изучение примет. По карте можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадаешь на эту настоящую землю, сразу же сказывается знание карты — уже не бродишь вслепую и не

тратишь времени на пустяки.

На карте Мещёрского края внизу, в самом дальнем углу, на юге, показан изгиб большой полноводной реки. Это Ока. К северу от Оки тянется лесистая и болотистая низина, к югу — давно обжитые, населённые рязанские земли. Ока течёт по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих пространств.

Рязанские земли хлебные, жёлтые от ржаных полей, кудрявые от яблоневых садов. Околицы рязанских деревень часто сливаются друг с другом, деревни разбросаны густо, и нет такого места, откуда бы не была видна на горизонте одна, а то и две-три ещё уцелевшие колокольни. Вместо лесов по склонам логов шумят берёзовые рощи.

Рязанская земля — земля полей. К югу от Рязани уже начинаются степи.

Но стоит переправиться на пароме через Оку, и за широкой полосой приокских лугов уже стоят тёмной стеной Мещёрские сосновые леса. Они идут к северу и востоку, в них синеют круглые озёра. Эти леса скрывают в своей глубине громадные торфяные болота.

На западе Мещёрского края, на так называемой Боровой стороне, среди сосновых лесов лежат в мелколесье восемь боровых озёр. К ним нет ни

дорог, ни троп, и добраться до них можно только через лес по карте и компасу.

У этих озёр одно очень странное свойство: чем меньше озеро, тем оно глубже. В большом Митинском озере всего четыре метра глубины, а в маленьком Удемном — семнадцать метров.

Мшары

К востоку от Боровых озёр лежат громадные Мещёрские болота — «мшары» или «омшары». Это заросшие в течение тысячелетий озёра. Они занимают площадь в триста тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера — «материк» — с его густым сосновым лесом. Кое-где на мшарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником, — бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры «островами». На «островах» ночуют лоси.

Как-то в конце сентября мы шли мшарами к Поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюква величиной с орех и поганые грибы «чуть поболее телячьей головы». От этих грибов озеро и получило своё название. На Поганое озеро бабы

ходить опасались — около него были какие-то «зеленущие трясины».

— Как ступишь ногой, — рассказывали бабы, — так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, ольха закачается, и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо. Ей-богу! Прямо такие страсти — сказать невозможно. А самое озеро без дна, чёрное. Ежели какая молодая бабёнка на его глянет — враз сомлеет.

— Отчего сомлеет?

— От страху. Так тебя страхом и дерёт по спине, так и дерёт. Мы как на Поганое озеро наткнёмся, так бяжим от него, бяжим до первого острова, там только и отдышимся.

Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до Поганого озера. По пути мы заночевали на Чёрном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде, в непроглядном мраке выли волки.

Чёрное озеро было налито вровень с берегами. Казалось, стоит подуть ветру или усилиться дождю, и вода затопит мшары и нас вместе с палаткой и мы никогда не выйдем из этих низких, угрюмых пустошей.

Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, чёрных коряг. К утру дождь прошёл. Серое

небо низко провисало над головой. От того, что облака почти касались верхушек берёз, на земле было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок — сквозь него просвечивало солнце.

Мы свернули палатку, взвалили на себя рюкзаки и пошли. Идти было трудно. Прошлым летом по мшарам прошёл низовой пожар. Корни берёз и ольхи подгорели, деревья свалились, и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы. Шли мы по кочкам, а между кочками, там, где кисла рыжая вода, торчали острые, как колья, корни берёз. Их зовут в Мещёрском крае колка́ми.

Мшары заросли сфагнумом, брусникой, гонобобелем, кукушкиным льном. Нога тонула в зелёных и серых мхах по самое колено.

За два часа мы прошли только два километра. Впереди показался «остров». Из последних сил, перелезая через завалы, изодранные и окровавленные, мы добрались до лесистого бугра и упали на тёплую землю, в заросли ландышей. Ландыши уже созрели — меж широких листьев висели твёрдые оранжевые ягоды. Сквозь ветки сосен просвечивало бледное небо.

С нами был писатель Гайдар. Он обошёл весь «остров». «Остров» был небольшой, со всех сторон

его окружали мшары, только далеко на горизонте были видны ещё два «острова».

Гайдар закричал издали, засвистел. Мы нехотя встали, пошли к нему, и он показал нам на сырой земле, там, где «остров» переходил в мшары, громадные свежие следы лося. Лось, очевидно, шёл большими скачками.

— Это его тропа на водопой, — сказал Гайдар.

Мы пошли по лосиному следу. У нас не было воды, хотелось пить. В ста шагах от «острова» следы привели нас к небольшому «окну» с чистой, холодной водой, вода пахла йодоформом. Мы напились и вернулись обратно.

Гайдар пошёл искать Поганое озеро. Оно лежало где-то рядом, но его, как и большинство озёр во мшарах, было очень трудно найти. Озёра окружены такими густыми зарослями и высокой травой, что можно пройти в нескольких шагах и не заметить воды.

Гайдар не взял компаса, сказал, что найдёт обратную дорогу по солнцу, и ушёл. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь глухо протрубил в дальних лесах.

Прошёл час. Гайдар не возвращался. Но солнце было ещё высоко, и мы не тревожились — Гайдар

не мог не найти дорогу обратно.

Прошёл второй час, третий. Небо над мшарами стало бесцветным; потом серая стена, похожая на дым, медленно наползла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло. Только сухая мгла стлалась над мшарами.

Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как в бессолнечные дни люди кружили в мшарах на одном месте по нескольку суток.

Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. Я прислушался, и неприятный холод прошёл по спине: в мшарах, как раз в той стороне, куда ушёл Гайдар, уныло подвывали волки.

Что же делать? Ветер дул в ту сторону, куда ушёл Гайдар. Можно было разжечь костёр, дым потянуло бы в мшары, и Гайдар мог бы вернуться на «остров» по запаху дыма. Но этого нельзя было делать. Мы не условились об этом с Гайдаром. В болотах часто бывают пожары. Гайдар мог принять этот дым за приближение пожара и, вместо того чтобы идти к нам, начал бы уходить от нас, спасаясь от огня.

Пожары в высохших болотах — самое страш-

ное, что можно испытать в этих краях. От них трудно спастись — огонь идёт очень быстро. Да и куда уйдёшь, когда до горизонта лежат сухие, как порох, мхи, и спастись можно, да и то не наверняка, только на «острове» — огонь почему-то обходит иногда лесистые «острова».

Мы кричали все сразу, но нам отвечали только волки. Тогда один из нас ушёл с компасом в мшары — туда, где исчез Гайдар.

Спускались сумерки. Вороны летали над «островом» и каркали испуганно и зловеще.

Мы кричали отчаянно, потом всё же разожгли костёр — быстро темнело, — и теперь Гайдар мог выйти на огонь костра.

Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса, и только в глухие сумерки где-то около второго «острова» вдруг загудел и закрякал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико — откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек?

Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услышали треск в завалах, автомобиль крякнул в последний раз где-то совсем рядом, и из мшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар, а за ним и

наш товарищ — тот, что ушёл с компасом.

Оказывается, Гайдар слышал наши крики и всё время отвечал, но ветер дул в его сторону и отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он начал крякать — подражать автомобилю.

До Поганого озера Гайдар не дошёл. Ему встретилась одинокая сосна, он влез на неё и увидел вдали это озеро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошёл обратно.

— Почему? — спросили мы его.

— Очень страшное озеро, — ответил он. — Ну его к чёрту!

Он рассказал, что даже издали видно, какая чёрная, будто смола, вода в Поганом озере. Редкие больные сосны стоят по берегам, наклонившись над водой, готовые упасть от первого же порыва ветра. Несколько сосен уже упало в воду. Вокруг озера, должно быть, непроходимые трясины.

Темнело быстро, по-осеннему. Мы не остались ночевать на «острове», а пошли мшарами в сторону «материка» — лесистого берега болота. Идти в темноте по завалам было невыносимо трудно. Каждые десять минут мы проверяли направление по фосфорному компасу и только к полночи выбрались на твёрдую землю, в леса, наткнулись на заброшенную дорогу и поздней ночью дошли

по ней к озеру Сегден, где жил наш общий приятель Кузьма Зотов, кроткий, больной человек, рыбак и колхозник.

Я рассказал всю эту историю, в которой нет ничего особенного, только затем, чтобы дать хотя бы отдалённое понятие о том, что представляют собой Мещёрские болота — мшары.

На некоторых мшарах (на Красном болоте и на болоте Пильном) уже началась добыча торфа. Торф здесь старый, мощный, его хватит на сотни лет.

Да, но надо окончить рассказ о Поганом озере. На следующее лето мы всё же дошли до этого озера. Берега у него были плавучие — не привычные твёрдые берега, а густое сплетение белокрыльника, багульника, трав, корней и мхов. Берега качались под ногами, как гамак. Под тощей травой стояла бездонная вода. Шест легко пробивал плавучий берег и уходил в трясину. При каждом шаге фонтаны тёплой воды били из-под ног. Останавливаться было нельзя: ноги засасывало и следы наливались водой.

Вода в озере была чёрная. Со дна пузырями поднимался болотный газ.

Мы удили на этом озере окуней. Мы привязывали длинные лески к кустам багульника или к

деревцам молодой ольхи, а сами сидели на поваленных соснах и курили, пока куст багульника не начинал рваться и шуметь или не сгибалось и трещало деревцо ольхи. Тогда мы лениво подымались, тащили за леску и выволакивали на берег жирных чёрных окуней. Чтобы они не уснули, мы клали их в свои следы, в глубокие ямы, налитые водой, и окуни били в воде хвостами, плескались, но уйти никуда не могли.

В полдень над озером собралась гроза. Она росла на глазах. Маленькое грозовое облако превратилось в зловещую тучу, похожую на наковальню. Она стояла на месте и не хотела уходить.

Молнии хлестали в мшары рядом с нами, и на душе у нас было неважно.

Больше на Поганое озеро мы не ходили, но всё же заслужили у баб славу людей отпетых, готовых на всё.

— Вовсе отчаянные мужчины, — говорили они нараспев. — Ну такие отчаянные, такие отчаянные, прямо слов нету!

Лесные реки и каналы

Я снова отвлёкся от карты. Чтобы покончить с ней, надо сказать о могучих массивах лесов (они заливают всю карту зелёной тусклой краской), о загадочных белых пятнах в глубине лесов и о двух реках — Солотче и Пре, текущих на юг через леса, болота и гари.

Солотча — извилистая, неглубокая река. В её бочагах стоят под берегами стаи язей. Вода в Солотче красного цвета. Такую воду крестьяне зовут «суровой». На всём протяжении реки только в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая дорога, и при дороге стоит одинокий постоялый двор.

Пра течёт из озёр северной Мещёры в Оку. Деревень по берегам очень мало. В старое время на Пре, в дремучих лесах, селились раскольники.

В городе Спас-Клепики, в верховьях Пры, работает старинная ватная фабрика. Она спускает в реку хлопковые очёсы, и дно Пры около Спас-Клепиков покрыто толстым слоем слежавшейся чёрной ваты. Это, должно быть, единственная река в Советском Союзе с ватным дном.

Кроме рек, в Мещёрском крае много каналов.

Ещё при Александре II генерал Жилинский решил осушить Мещёрские болота и создать под Москвой большие земли для колонизации. В Мещёру была отправлена экспедиция. Она работала двадцать лет и осушила только полторы тысячи гектаров земли, но на этой земле никто не захотел селиться — она оказалась очень скудной.

Жилинский провёл в Мещёре множество каналов. Сейчас каналы эти заглохли и заросли болотными травами. В них гнездятся утки, живут ленивые лини и вёрткие вьюны.

Каналы эти очень живописны. Они уходят в глубь лесов. Заросли свисают над водой тёмными арками. Кажется, что каждый канал ведёт в таинственные места. По каналам, особенно весною, можно пробираться в лёгком челне на десятки километров.

Сладковатый запах водяных лилий смешан с запахом смолы. Иногда высокие камыши перегораживают каналы сплошными плотинами. По берегам растёт белокрыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на одном листе прорисована широкая белая полоса, и издали кажется, что это цветут громадные снежные цветы. Папоротник, ежевика, хвощи и мох наклоняются с берегов. Если задеть рукой или веслом за кос-

мы мха, из него вылетает густым облаком яркая изумрудная пыль — споры кукушкиного льна. Розовый кипрей цветёт невысокими стенами. Оливковые жуки-плавунцы ныряют в воде и нападают на стаи мальков. Иногда приходится тащить чёлн волоком по мелкой воде. Тогда плавунцы до крови кусают ноги.

Тишина нарушается только звоном комаров и всплесками рыб.

Плавание всегда приводит к неизвестной цели — к лесному озеру или к лесной реке, несущей чистую воду над хрящевым дном.

На берегах этих рек в глубоких норах живут водяные крысы. Есть крысы, совершенно седые от старости.

Если тихо следить за норой, то можно увидеть, как крыса ловит рыбу. Она выползает из норы, ныряет очень глубоко и выплывает со страшным шумом. На широких водяных кругах качаются жёлтые кувшинки. Во рту крыса держит серебряную рыбу и плывёт с ней к берегу. Когда рыба бывает больше крысы, борьба длится долго и крыса вылезает на берег усталая, с красными от злости глазами.

Чтобы легче было плавать, водяные крысы отгрызают длинный стебель куги и плавают, держа

его в зубах. Стебель куги полон воздушных ячеек. Он прекрасно держит на воде даже не такую тяжесть, как крыса.

Жилинский пытался осушить болота Мещёры. Из этой затеи ничего не вышло. Почва Мещёры — это торф, подзол и пески. На песках хорошо родится только картошка. Богатство Мещёры не в земле, а в лесах, в торфе и в заливных лугах по левому берегу Оки. Эти луга иные учёные сравнивают по плодородию с поймой Нила. Луга дают великолепное сено.

Леса

Мещёра — остаток лесного океана.

Мещёрские леса величественны, как кафедральные соборы. Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал в исследовании о Мещёрском крае такие слова: «Здесь в могучих сосновых борах так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу».

По сухим сосновым борам идёшь, как по глубокому дорогому ковру, — на километры земля покрыта сухим мягким мхом. В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Стаи птиц со свистом и лёгким шумом разлета-

ются в стороны.

В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как волны. Одинокий самолёт, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем, наблюдаемым со дна моря.

Простым глазом видны мощные воздушные токи. Они подымаются от земли к небу. Облака тают, стоя на месте. Сухое дыхание лесов и запах можжевельника, должно быть, доносятся и до самолётов.

Кроме сосновых лесов, мачтовых и корабельных, есть леса еловые, берёзовые и редкие пятна широколиственных лип, вязов и дубов. В дубовых перелесках нет дорог. Они непроезжи и опасны из-за муравьёв. В знойный день пройти через дубовую заросль почти невозможно: через минуту всё тело, от пяток до головы, покроют рыжие злые муравьи с сильными челюстями. В дубовых зарослях бродят безобидные медведи-муравьятники. Они расковыривают старые пни и слизывают муравьиные яйца.

Леса в Мещёре разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому-нибудь дальнему озеру.

Путь в лесах — это километры тишины, безвет-

рия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, жёсткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки.

Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. Внизу, у подножия сосен, уже темно и глухо. Бесшумно летают и как будто заглядывают в лицо летучие мыши. Какой-то непонятный звон слышен в лесах — звучание вечера, догоревшего дня.

А вечером блеснёт наконец озеро, как чёрное, косо поставленное зеркало. Ночь уже стоит над ним и смотрит в его тёмную воду, — ночь, полная звёзд. На западе ещё тлеет заря, в зарослях волчьих ягод кричит выпь, и на мшарах бормочут и возятся журавли, обеспокоенные дымом костра.

Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берёз висит не шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то очень далеко — кажется, за краем земли — хрипло кричит старый петух в избе лесника.

В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке

зеленеет. Голубым хрусталём загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Ещё всё спит. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы, и только совы летают около костра медленно и бесшумно, как комья белого пуха.

Котелок сердится и бормочет на огне. Мы почему-то говорим шёпотом — боимся спугнуть рассвет. С жестяным свистом проносятся тяжёлые утки. Туман начинает клубиться над водой. Мы наваливаем в костёр горы сучьев и смотрим, как подымается огромное белое солнце — солнце бесконечного летнего дня.

Так мы живём в палатке на лесных озёрах по нескольку дней. Наши руки пахнут дымом и брусникой — этот запах не исчезает неделями. Мы спим по два часа в сутки и почти не знаем усталости. Должно быть, два-три часа сна в лесах стоят многих часов сна в духоте городских домов, в спёртом воздухе асфальтовых улиц.

Однажды мы ночевали на Чёрном озере, в высоких зарослях, около большой кучи старого хвороста.

Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за край прибрежных кувшинок — ловить рыбу. На дне озера толстым

слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги.

Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая спина чёрной рыбы с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула и прошла под резиновой лодкой. Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, это была гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку пером и распороть её, как бритвой.

Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страшной силой хлестнула хвостом и снова прошла под самой лодкой. Мы бросили удить и начали грести к берегу, к своему биваку. Рыба всё время шла рядом с лодкой.

Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать, но в это время с берега раздалось визгливое тявканье и дрожащий, хватающий за сердце вой. Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве стояла, поджав хвост, волчица с тремя волчатами и выла, подняв морду к небу. Она выла долго и скучно; волчата визжали и прятались за мать. Чёрная рыба снова прошла у самого борта и зацепила пером за весло.

Я бросил в волчицу тяжёлым свинцовым грузи-

лом. Она отскочила и рысцой побежала от берега. И мы увидели, как она пролезла вместе с волчатами в круглую нору в куче хвороста невдалеке от нашей палатки.

Мы высадились, подняли шум, выгнали волчицу из хвороста и перенесли бивак на другое место.

Чёрное озеро названо так по цвету воды. Вода в нём чёрная и прозрачная.

В Мещёре почти у всех озёр вода разного цвета. Больше всего озёр с чёрной водой. В иных озёрах (например, в Чёрненьком) вода напоминает блестящую тушь. Трудно, не видя, представить себе этот ненасыщенный густой цвет. И вместе с тем вода в этом озере, так же как и в Чёрном, совершенно прозрачная.

Этот цвет особенно хорош осенью, когда на чёрную воду слетают жёлтые и красные листья берёз и осин. Они устилают воду так густо, что чёлн шуршит по листве и оставляет за собой блестящую чёрную дорогу.

Но этот цвет хорош и летом, когда белые лилии лежат на воде, как на необыкновенном стекле. Чёрная вода обладает великолепным свойством отражения: трудно отличить настоящие берега от отражённых, настоящие заросли — от их отра-

жения в воде.

В Урженском озере вода фиолетовая, в Сегдене — желтоватая, в Великом озере — оловянного цвета, а в озёрах за Прой — чуть синеватая. В луговых озёрах летом вода прозрачная, а осенью приобретает зеленоватый морской цвет и даже запах морской воды.

Но большинство озёр всё же — чёрные. Старики говорят, что чернота вызвана тем, что дно озёр устлано толстым слоем опавших листьев. Бурая листва даёт тёмный настой. Но это не совсем верно. Цвет объясняется торфяным дном озёр — чем старее торф, тем темнее вода.

Я упомянул о мещёрских челнах. Они похожи на полинезийские пиро́ги. Они выдолблены из одного куска дерева. Только на носу и на корме они склёпаны коваными гвоздями с большими шляпками.

Чёлн очень узок, лёгок, поворотлив, на нём можно пройти по самым мелким протокам.

Луга

Между лесами и Окой тянутся широким поясом заливные луга.

В сумерки луга похожи на море. Как в море,

садится солнце в травы, и маяками горят сигнальные огни на берегу Оки. Так же как в море, над лугами дуют свежие ветры, и высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей.

В лугах тянется на много километров старое русло Оки. Его зовут Прорвой.

Это заглохшая, глубокая и неподвижная река с крутыми берегами. Берега заросли высокими, старыми, в три обхвата, осокорями, столетними ивами, шиповником, зонтичными травами и ежевикой.

Один плёс на этой реке мы назвали «Фантастической Прорвой», потому что нигде и никто из нас не видел таких огромных, в два человеческих роста, репейников, голубых колючек, такой высокой медуницы и конского щавеля и таких исполинских грибов-дождевиков, как на этом плёсе.

Густота трав в иных местах на Прорве такая, что с лодки нельзя высадиться на берег, — травы стоят непроходимой упругой стеной. Они отталкивают человека. Травы перевиты предательскими петлями ежевики, сотнями опасных и колких силков.

Над Прорвой часто стоит лёгкая дымка. Цвет её меняется от времени дня. Утром — это голубой

туман, днём — белёсая мгла, и лишь в сумерки воздух над Прорвой делается прозрачным, как ключевая вода. Листва осокорей едва трепещет, розовая от заката, и в омутах гулко бьют прорвинские щуки.

По утрам, когда нельзя пройти по траве и десяти шагов, чтобы не промокнуть до нитки от росы, воздух на Прорве пахнет горьковатой ивовой корой, травянистой свежестью, осокой. Он густ, прохладен и целителен.

Каждую осень я провожу на Прорве в палатке по многу суток. Чтобы получить отдалённое представление о том, что такое Прорва, следует описать хотя бы один прорвинский день. На Прорву я приезжаю на лодке. Со мной палатка, топор, фонарь, рюкзак с продуктами, сапёрная лопатка, немного посуды, табак, спички и рыболовные принадлежности: удочки, донки, перемёты, жерлицы и, самое главное, банка с червяками-подлистниками. Их я собираю в старом саду под кучами палых листьев.

На Прорве у меня есть уже свои любимые, всегда очень глухие места. Одно из них — это крутой поворот реки, где она разливается в небольшое озеро с очень высокими, заросшими лозой берегами.

Там я разбиваю палатку. Но прежде всего я таскаю сено. Да, сознаюсь, я таскаю сено из ближайшего стога, но таскаю очень ловко, так, что даже самый опытный глаз старика колхозника не заметит в стогу никакого изъяна. Сено я подкладываю под брезентовый пол палатки. Потом, когда я уезжаю, я отношу его обратно.

Палатку надо натягивать так, чтобы она гудела, как барабан. Потом её надо окопать, чтобы во время дождя вода стекала в канавы по бокам палатки и не подмочила пол.

Палатка устроена. В ней тепло и сухо. Фонарь «летучая мышь» висит на крючке. Вечером я зажигаю его и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго — на Прорве слишком много помех: то за соседним кустом начнёт кричать коростель, то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут и разбрызжет искры, то над зарослями начнёт разгораться багровое зарево и мрачная луна взойдёт над просторами вечерней земли. И сразу же стихнут коростели и перестанет гудеть в болотах выпь — луна подымается в насторожённой тишине. Она появляется как владетель этих тёмных вод, столетних ив, таинственных длинных ночей.

Шатры чёрных ив нависают над головой. Глядя на них, начинаешь понимать значение старых слов. Очевидно, такие шатры в прежние времена назывались «сенью». Под сенью ив… И почему-то в такие ночи созвездие Ориона называешь Стожарами, а слово «полночь», которое в городе звучит, пожалуй, как литературное понятие, приобретает здесь настоящий смысл. Вот эта тьма под ивами, и блеск сентябрьских звёзд, и горечь воздуха, и далёкий костёр в лугах, где мальчишки сторожат коней, согнанных в ночное, — всё это полночь. Где-то далеко сторож отбивает на сельской колокольне часы. Он бьёт долго, мерно — двенадцать ударов. Потом снова тёмная тишина. Только изредка на Оке закричит заспанным голосом буксирный пароход.

Ночь тянется медленно; кажется, ей не будет конца. Сон в осенние ночи в палатке крепкий, свежий, несмотря на то что просыпаешься через каждые два часа и выходишь посмотреть на небо — узнать, не взошёл ли Сириус, не видно ли на востоке полосы рассвета.

С каждым часом ночь холодеет. К рассвету воздух уже обжигает лицо лёгким морозом, полотнища палатки, покрытые толстым слоем хрустящего инея, чуть-чуть провисают, и трава

седеет от первого утренника.

Пора вставать. На востоке уже наливается тихим светом заря, уж не видны на небе огромные очертания ив, уже меркнут звёзды. Я спускаюсь к реке, моюсь с лодки. Вода тёплая, она кажется даже слегка подогретой.

Восходит солнце. Иней тает. Прибрежные пески делаются тёмными от росы.

Я кипячу крепкий чай в жестяном закопчённом чайнике. Твёрдая копоть похожа на эмаль. В чайнике плавают перегоревшие в костре ивовые листья.

Всё утро я ловлю рыбу. Я проверяю с лодки перемёты, поставленные поперёк реки ещё с вечера. Сначала идут пустые крючки — на них всю наживку съели ерши. Но вот шнур натягивается, режет воду, и в глубине возникает живой серебряный блеск — это ходит на крючке плоский лещ. За ним виден жирный и упористый окунь, потом — щурёнок с жёлтыми пронзительными глазами. Вытащенная рыба кажется ледяной.

К этим дням, проведённым на Прорве, целиком относятся слова Аксакова:

«На зелёном цветущем берегу, над тёмной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо

трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды. Природа вступит в вечные права свои. Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнёте вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе».

Небольшое отступление от темы

С Прорвой связано много всяких рыболовных происшествий. Об одном из них я расскажу.

Великое племя рыболовов, обитавших в селе Солотче, около Прорвы, было взволновано. В Солотчу приехал из Москвы высокий старик с длинными серебряными зубами. Он тоже ловил рыбу.

Старик ловил на спиннинг: английскую удочку с блесной — искусственной никелевой рыбкой.

Мы презирали спиннинг. Мы со злорадством следили за стариком, когда он терпеливо бродил по берегам луговых озёр и, размахивая спиннингом, как кнутом, неизменно выволакивал из воды пустую блесну.

А тут же рядом Лёнька, сын сапожника, таскал

рыбу не на английскую леску, стоящую сто рублей, а на обыкновенную верёвку. Старик вздыхал и жаловался:

— Жестокая несправедливость судьбы!

Он говорил даже с мальчишками очень вежливо, на «вы», и употреблял в разговоре старомодные, давно забытые слова. Старику не везло. Мы давно уже знали, что все рыболовы делятся на глубоких неудачников и на счастливцев. У счастливцев рыба клюёт даже на дохлого червяка. Кроме того, есть рыболовы — завистники и хитрецы. Хитрецы думают, что они могут перехитрить любую рыбу, но никогда в жизни я не видел, чтобы такой рыболов перехитрил даже самого серого ерша, не говоря о плотве.

С завистником лучше не ходить на ловлю — клевать у него всё равно не будет. В конце концов, похудев от зависти, он начнёт подкидывать свою удочку к вашей, шлёпать грузилом по воде и распугает всю рыбу.

Итак, старику не везло. За один день он обрывал о коряги не меньше десяти дорогих блёсен, ходил весь в крови и волдырях от комаров, но не сдавался.

Один раз мы взяли его с собой на озеро Сегден.

Всю ночь старик дремал у костра стоя, как

лошадь: сесть на сырую землю он боялся. На рассвете я зажарил яичницу с салом. Сонный старик хотел перешагнуть через костёр, чтобы достать хлеб из сумки, споткнулся и наступил огромной ступнёй на яичницу.

Он выдернул ногу, вымазанную желтком, тряхнул ею в воздухе и ударил по кувшину с молоком. Кувшин треснул и рассыпался на мелкие части. И прекрасное топлёное молоко с лёгким шорохом всосалось у нас на глазах в мокрую землю.

— Виноват! — сказал старик, извиняясь перед кувшином.

Потом он пошёл к озеру, опустил ногу в холодную воду и долго болтал ею, чтобы смыть с ботинка яичницу. Две минуты мы не могли выговорить ни слова, а потом хохотали в кустах до самого полдня.

Всем известно, что раз рыболову не везёт, то рано или поздно с ним случится такая хорошая неудача, что о ней будут рассказывать по деревне не меньше десяти лет. Наконец такая неудача случилась.

Мы пошли со стариком на Прорву. Луга ещё не были скошены. Ромашка величиной с ладонь хлестала по ногам.

Старик шёл и, спотыкаясь о травы, повторял:

— Какой аромат, граждане! Какой упоительный аромат!

Над Прорвой стояло безветрие. Даже листья ив не шевелились и не показывали серебристую изнанку, как это бывает и при лёгком ветре. В нагретых травах «жундели» шмели.

Я сидел на разбитом плоту, курил и следил за перяным поплавком. Я терпеливо ждал, когда поплавок вздрогнет и пойдёт в зелёную речную глубину. Старик ходил по песчаному берегу со спиннингом. Я слышал из-за кустов его вздохи и возгласы:

— Какое дивное, очаровательное утро!

Потом я услышал за кустами кряканье, топот, сопенье и звуки, очень похожие на мычание коровы с завязанным ртом. Что-то тяжёлое шлёпнулось в воду, и старик закричал тонким голосом:

— Боже мой, какая красота!

Я соскочил с плота, по пояс в воде добрался до берега и подбежал к старику. Он стоял за кустами у самой воды, а на песке перед ним тяжело дышала старая щука. На первый взгляд, в ней было не меньше пуда.

— Тащите её подальше от воды! — крикнул я.

Но старик зашипел на меня и дрожащими ру-

ками вынул из кармана пенсне. Он надел его, нагнулся над щукой и начал её рассматривать с таким восторгом, с каким знатоки любуются редкой картиной в музее.

Щука не сводила со старика злых прищуренных глаз.

— Здорово похожа на крокодила! — сказал Лёнька.

Щука покосилась на Лёньку, и он отскочил. Казалось, щука прохрипела: «Ну погоди, дурак, я тебе оторву уши!»

— Голубушка! — воскликнул старик и ещё ниже наклонился над щукой.

Тогда и случилась та неудача, о которой до сих пор говорят по деревне.

Щука примерилась, мигнула глазом и со всего размаху ударила старика хвостом по щеке. Над сонной водой раздался оглушительный треск оплеухи. Пенсне полетело в реку. Щука подскочила и тяжело шлёпнулась в воду.

— Увы! — крикнул старик, но было уже поздно.

В стороне приплясывал Лёнька и кричал нахальным голосом:

— Ага! Получили! Не ловите, не ловите, не ловите, когда не умеете!

В тот же день старик смотал свои спиннинги и уехал в Москву. И никто больше не нарушал тишину протоков и рек, не обрывал блесной холодные речные лилии и не восторгался вслух тем, чем лучше всего восторгаться без слов.

Ещё о лугах

В лугах очень много озёр. Названия у них странные и разнообразные: Тишь, Бык, Хотец, Промоина, Канава, Старица, Музга, Бобровка, Селянское озеро и, наконец, Лангобардское.

На дне Хотца лежат чёрные морёные дубы. В Тиши всегда затишье. Высокие берега закрывают озеро от ветров. В Бобровке некогда водились бобры, а теперь гоняют мальков шелеспёры. Промоина — глубокое озеро с такой капризной рыбой, что ловить её может только человек с очень хорошими нервами. Бык — озеро таинственное, далёкое, тянущееся на много километров. В нём мели сменяются омутами, но мало тени на берегах, и потому мы его избегаем. В Канаве водятся удивительные золотые лини: каждый такой линь клюёт полчаса. К осени берега Канавы покрываются пурпурными пятнами, но не от осенней листвы, а от обилия очень крупных ягод

шиповника.

На Старице по берегам — песчаные дюны, заросшие чернобыльником и чередой. На дюнах растёт трава, её зовут живучкой. Это плотные серо-зелёные шарики, похожие на туго закрывшуюся розу. Если вырвать такой шарик из песка и положить корнями вверх, он начинает медленно ворочаться, как перевёрнутый на спину жук, расправляет с одной стороны лепестки, упирается на них и переворачивается опять корнями к земле.

В Музге глубина доходит до двадцати метров. На берегах Музги во время осеннего перелёта отдыхают журавлиные стаи. Селянское озеро всё заросло чёрной кугой. В ней гнездятся сотни уток.

Как прививаются названия! В лугах около Старицы есть небольшое безыменное озеро. Мы назвали его Лангобардским в честь бородатого сторожа — «лангобарда». Он жил на берегу озера в шалаше, сторожил капустные огороды. А через год, к нашему удивлению, название привилось, но колхозники переделали его по-своему и стали называть это озеро Амбарским.

Разнообразие трав в лугах неслыханное. Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. На километры

тянутся густые, высокие заросли ромашки, цикория, клевера, дикого укропа, гвоздики, мать-и-мачехи, одуванчиков, генцианы, подорожника, колокольчиков, лютиков и десятков других цветущих трав. В травах к покосу созревает луговая клубника.

Старики

В лугах — в землянках и шалашах — живут болтливые старики. Это или сторожа на колхозных огородах, или паромщики, или корзинщики. Корзинщики ставят шалаши около прибрежных зарослей ивняка.

Знакомство с этими стариками начинается обыкновенно во время грозы или дождя, когда приходится отсиживаться в шалашах, пока гроза не свалится за Оку или в леса и над лугами не опрокинется радуга.

Знакомство всегда происходит по раз навсегда установленному обычаю. Сначала мы закуриваем, потом идёт вежливый и хитрый разговор, направленный к тому, чтобы выведать, кто мы такие, после него — несколько неопределённых слов о погоде («заладили дожжи» или, наоборот, «наконец-то обмоет траву, а то всё сушь да сушь»).

И только после этого беседа может свободно переходить на любую тему.

Больше всего старики любят поговорить о вещах необыкновенных: о новом Московском море, «водяных еропланах» (глиссерах) на Оке, французской пище («из лягушек уху варят и хлебают серебряными ложками»), барсучьих бегах и колхознике из-под Пронска, который, говорят, заработал столько трудодней, что купил на них автомобиль с музыкой.

Чаще всего я встречался с ворчливым дедом-корзинщиком. Жил он в шалаше на Музге. Звали его Степаном, а прозвище у него было «Борода на жердях».

Дед был худой, тонконогий, как старая лошадь. Говорил он невнятно, борода лезла в рот; ветер ворошил у деда мохнатое лицо.

Как-то я заночевал в шалаше у Степана. Пришёл я поздно. Были серые тёплые сумерки, перепадал нерешительный дождь. Он шумел по кустам, стихал, потом снова начинал шуметь, как будто играл с нами в прятки.

— Возится этот дождь, как дитё, — сказал Степан. — Чисто ребёнок — то тут шелохнёт, то там, а то и вовсе притаится, слушает наш разговор.

У костра сидела девочка лет двенадцати, свет-

логлазая, тихая, испуганная. Говорила она только шёпотом.

— Вот, приблудилась дурочка из Заборья! — сказал ласково дед. — Тёлку в лугах искала-искала, да и доискалась до темноты. Прибегла на огонь к деду. Что ты с ней будешь делать.

Степан вытащил из кармана жёлтый огурец и дал девочке:

— Ешь, не сумлевайся.

Девочка взяла огурец, кивнула головой, но есть не стала.

Дед поставил на огонь котелок, начал варить похлёбку.

— Вот, милые вы мои, — сказал дед, закуривая, — бродите вы, как нанятые, по лугам, по озёрам, а того нету у вас в понятии, что были все эти луга, и озёра, и леса монастырские. От самой Оки до Пры, почитай на сто вёрст, весь лес был монашеский. А теперь народный, теперь тот лес трудовой.

— А за что им такие леса были дадены, дедушка? — спросила девочка.

— А пёс их знает за что! Бабы-дуры говорили — за святость. Грехи они наши замаливали перед Матерью Божьей. А какие у нас грехи? Грехов у нас почитай никаких и не было. Эх, темнота,

темнота!

Дед вздохнул.

— Ходил и я по церквам, был грех, — пробормотал смущённо дед. — Да что толку-то! Лапти даром уродовал.

Дед помолчал, накрошил в похлёбку чёрного хлеба.

— Житьишко наше было плохое, — сказал он, сокрушаясь. — Не хватало ни мужикам, ни бабам счастья. Мужик ещё туда-сюда — мужик, по крайности, к водке прибьётся, а баба совсем пропадала. Ребята у ней были не питые, не сытые. Топталась она всю жизнь с ухватами у печки, покуль черви в глазах не заводились. Ты не смейся, ты это брось! Я верное слово сказал насчёт червей. Заводились те черви в бабьих глазах от огня.

— Ужасти! — тихо вздохнула девочка.

— А ты не пужайся, — сказал дед. — У тебя черви не заведутся. Теперь девки нашли своё счастье. Ране народ думал — живёт оно, счастье, на тёплых водах, в синих морях, а на поверку вышло, что живёт оно здесь, в черепке, — дед постучал корявым пальцем по лбу. — Вот, к примеру, Манька Малявина. Голосистая была девчонка, и всё. В старые времена она бы свой голос в одночасье проплакала, а теперь ты гляди, что получилось.

Что ни день — у Малявина чистый праздник: гармонь играет, пироги пекут. А почему? Потому, милые мои, что как же ему, Ваське Малявину, не весело жить, когда Манька каждый месяц ему, старому чёрту, двести рублей присылает!

— Откуль? — спросила девочка.

— Из Москвы. Она в театре поёт. Кто слыхал, говорит — райское пение. Прямо плачет навзрыд весь народ. Вот она какая теперь становится, бабья доля. Приезжала она прошлым летом, Манька. Так разве узнаешь! Тонкая девица, гостинец мне привезла. Пела в избе-читальне. Я до всего привычный, а прямо скажу: схватило меня за сердце, а чего — не пойму. Откуль, думаю, такая власть человеку дадена? И как это пропадала она у нас, мужиков, от нашей дурости тысячи лет! Потопчешься сейчас по земле, там послухаешь, тут поглядишь, и умирать вроде всё как будто рано и рано — никак, милый, время для смерти не выберешь.

Дед снял похлёбку с огня и полез в шалаш за ложками.

— Жить бы нам и жить, Егорыч, — сказал он из шалаша. — Родились мы чуть-чуть рановато. Не угадали.

Девочка смотрела в огонь светлыми, блестящи-

ми глазами и думала о чём-то о своём.

Родина талантов

На краю Мещёрских лесов, недалеко от Рязани, лежит село Солотча. Солотча прославлена своим климатом, дюнами, реками и сосновыми борами. В Солотче есть электричество.

Крестьянские кони, согнанные в ночное на луга, дико смотрят на белые звёзды электрических фонарей, повисшие в далёком лесу, и всхрапывают от страха.

Я жил первый год в Солотче у кроткой старушки, старой девы и сельской портнихи, Марьи Михайловны. Её звали вековушей — весь свой век она коротала одна, без мужа, без детей.

В её чисто умытой игрушечной избе тикало несколько ходиков и висели две старинные картины неизвестного итальянского мастера. Я протёр их сырым луком, и итальянское утро, полное солнца и отблесков воды, наполнило тихую избу. Картину оставил отцу Марьи Михайловны в уплату за комнату неизвестный художник-иностранец. Он приезжал в Солотчу изучать тамошнее иконописное мастерство. Он был человек почти нищий и странный. Уезжая,

он взял слово, что картина будет ему прислана в Москву в обмен на деньги. Денег художник не прислал — в Москве он внезапно умер.

За стеной избы по ночам шумел соседский сад. В саду стоял дом в два этажа, обнесённый глухим забором. Я забрёл в этот дом в поисках комнаты. Со мной говорила красивая седая старуха. Она строго посмотрела на меня синими глазами и комнату сдать отказалась. За её плечом я разглядел стены, увешанные картинами.

— Чей это дом? — спросил я вековушу.

— Да как же! Академика Пожалостина, знаменитого гравёра. Умер он перед революцией, а старуха — его дочь. Их там две живут старухи. Одна совсем дряхлая, горбатенькая.

Я недоумевал. Гравёр Пожалостин — один из лучших русских гравёров, работы его разбросаны всюду: у нас, во Франции, в Англии, и вдруг — Солотча! Но вскоре я перестал недоумевать, услышав, как колхозники, копая картошку, заспорили, приедет ли в этом году в Солотчу художник Архипов или нет.

Пожалостин — бывший пастух. Художники Архипов и Малявин, скульптор Голубкина — все из этих, рязанских мест. В Солотче почти нет избы, где не было бы картин. Спросишь: кто писал?

Отвечают: дед, или отец, или брат. Солотчинцы были когда-то знаменитыми богомазами.

Имя Пожалостина до сих пор произносится с уважением. Он учил солотчан рисовать. Они ходили к нему тайком, неся завёрнутые в чистую тряпицу свои холсты на оценку — на хвалу или поругание.

Долго я не мог свыкнуться с мыслью, что рядом, за стеной, в темноватых комнатах старого дома, лежат редчайшие книги по искусству и медные гравированные доски. Поздно ночью я выходил к колодцу напиться воды. На срубе лежал иней, ведро обжигало пальцы, ледяные звёзды стояли над безмолвным и чёрным краем, и только в доме Пожалостина тускло светилось окошко: дочь его читала до рассвета. Изредка она, вероятно, поднимала очки на лоб и прислушивалась — стерегла дом.

На следующий год я поселился у Пожалостиных. Я снял у них старую баню в саду. Сад был заглохший, весь в сирени, в одичалом шиповнике, в яблонях и клёнах, покрытых лишаями.

На стенах в пожалостинском доме висели прекрасные гравюры — портреты людей прошлого века. Я никак не мог избавиться от их взглядов. Когда я чинил удочки или писал, толпа женщин

и мужчин в наглухо застёгнутых сюртуках, толпа семидесятых годов, смотрела на меня со стен с глубоким вниманием. Я подымал голову, встречался взглядом с глазами Тургенева или генерала Ермолова, и мне почему-то становилось неловко.

Солотчинская округа — страна талантливых людей. Недалеко от Солотчи родился Есенин.

Однажды ко мне в баню зашла старуха в понёве — принесла продавать сметану.

— Ежели тебе ещё сметана потребуется, — сказала она ласково, — так ты приходи ко мне, у меня есть. Спросишь у церкви, где живёт Татьяна Есенина. Тебе всякий покажет.

— Есенин Сергей не твой родственник?

— Поéт? — спросила бабка.

— Да, поэт.

— Племянничек мой, — вздохнула бабка и вытерла рот концом платка. — Был он поет хороший, только больно чудной. Так ежели сметанка потребуется, ты заходи ко мне, милый.

На одном из лесных озёр около Солотчи живёт Кузьма Зотов. До революции Кузьма был безответный бедняк. От бедности сохранилась у него привычка говорить вполголоса, незаметно — лучше уж не говорить, а помалкивать. Но от этой же бедности, от «тараканьей жизни» сохранилось

у него и упрямое желание во что бы то ни стало сделать своих детей «настоящими людьми».

В избе Зотовых появилось за последние годы много нового — радио, газеты, книги. От старого времени остался только дряхлый пёс — никак не хочет умирать.

— Как его ни корми, всё равно тощает, — говорит Кузьма. — Такой у него на всю жизнь завод остался бедняцкий. Кто почище одет, тех боится, хоронится под лавку. Думает — господа!

У Кузьмы трое сыновей-комсомольцев. Четвёртый сын — ещё совсем мальчик, Вася.

Один из сыновей, Миша, заведует опытной ихтиологической станцией на озере Великом, около города Спас-Клепики. Как-то летом Миша привёз домой старую скрипку без струн — купил её у какой-то старухи. Скрипка валялась в старухиной избе, в сундуке, — осталась от помещиков Щербатовых. Скрипка была итальянской работы, и Миша решил зимой, когда на опытной станции будет мало работы, съездить в Москву — показать её знатокам. Играть на скрипке он не умел.

— Если окажется ценной, — сказал он мне, — подарю кому-нибудь из наших лучших скрипачей.

Второй сын, Ваня, — учитель ботаники и зоологии в большом лесном селе, за сто километров от

родного озера. Во время отпуска он помогает матери по хозяйству, а в свободное время бродит по лесам или по озеру по пояс в воде, ищет какие-то редкие водоросли. Их он обещал показать своим ученикам, шустрым и страшно любопытным.

Ваня человек застенчивый. От отца к нему перешли незлобивость, расположение к людям, любовь к душевным разговорам.

Вася ещё учится в школе. На озере школы нет — там всего четыре избы, — и Васе приходится бегать в школу через лес, за семь километров.

Вася — знаток своих мест. Он знает каждую тропинку в лесу, каждую барсучью нору, оперение каждой птицы. Его серые прищуренные глаза обладают необыкновенной зоркостью.

Два года назад на озеро приехал из Москвы художник. Он взял Васю себе в помощники. Вася перевозил художника на челне на другой берег озера, менял ему воду для красок (художник рисовал французскими акварельными красками Лефранка), подавал из коробки свинцовые тюбики.

Однажды художника с Васей застигла на берегу гроза. Я помню её. Это была не гроза, а стремительный, предательский ураган. Пыль, розовая от блеска молний, неслась по земле. Леса шумели

так, будто океаны прорвали плотины и затапливают Мещёру. Гром встряхивал землю.

Художник с Васей едва добрались до дому. В избе художник обнаружил пропажу жестяной коробки с акварелью. Краски были потеряны, великолепные краски Лефранка! Художник искал их несколько дней, но не нашёл и вскоре уехал в Москву.

Через два месяца в Москве художник получил письмо, написанное большими корявыми буквами.

«Здравствуйте, — писал Вася. — Отпишите, что делать с вашими красками и как их вам переслать. Как вы уехали, я их искал две недели, всё обшарил, пока нашёл, только простыл, потому уже были дожди, заболел и не мог вам раньше отписать. Я чуть не помер, но теперь хожу, хотя ещё очень слабый. Так что не сердитесь. Папаня говорил, что было у меня воспаление в лёгких. Пришлите мне, если есть у вас какая возможность, книжку про всякие деревья и цветных карандашей — охота мне рисовать. У нас уже падал снег, но только стаял, а в лесу под ёлочкой — смотришь — и сидит заяц! Остаюсь Вася Зотов».

Мой дом

Маленький дом, где я живу в Мещёре, заслуживает описания. Это бывшая баня, бревенчатая изба, обшитая серым тёсом. Дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от сада высоким частоколом. Этот частокол — западня для деревенских котов, любителей рыбы. Каждый раз, когда я возвращаюсь с ловли, коты всех мастей — рыжие, чёрные, серые и белые с подпалинами — берут дом в осаду. Они шныряют вокруг, сидят на заборе, на крышах, на старых яблонях, подвывают друг на друга и ждут вечера. Все они смотрят не отрываясь на кукан с рыбой — он подвешен к ветке старой яблони с таким расчётом, что достать его почти невозможно.

Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Они подымаются на задние лапы, а передними делают стремительные и ловкие взмахи, стараясь зацепить кукан. Издали кажется, что коты играют в волейбол. Потом какой-нибудь наглый кот подпрыгивает, вцепляется в кукан мёртвой хваткой, висит на нём, качается и старается оторвать рыбу. Остальные коты бьют от досады друг друга по

усатым мордам. Кончается это тем, что я выхожу с фонарём из бани. Коты, застигнутые врасплох, бросаются к частоколу, но не успевают перелезть через него, а протискиваются между кольями и застревают. Тогда они прижимают уши, закрывают глаза и начинают отчаянно кричать, прося пощады.

Осенью весь дом засыпан листьями, и в двух маленьких комнатках становится светло, как в облетающем саду.

Трещат печи, пахнет яблоками, чисто вымытыми полами. Синицы сидят на ветках, пересыпают в горле стеклянные шарики, звенят, трещат и смотрят на подоконник, где лежит ломоть чёрного хлеба.

В доме я ночую редко. Большинство ночей я провожу на озёрах, а когда остаюсь дома, то ночую в старой беседке в глубине сада. Она заросла диким виноградом. По утрам солнце бьёт в неё сквозь пурпурную, лиловую, зелёную и лимонную листву, и мне всегда кажется, что я просыпаюсь внутри зажжённой ёлки. Воробьи с удивлением заглядывают в беседку. Их смертельно занимают часы. Они тикают на врытом в землю круглом столе. Воробьи подбираются к ним, слушают тиканье то одним, то другим ухом

и потом сильно клюют часы в циферблат.

Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый отвесный дождь.

Прохладный воздух едва качает язычок свечи. Угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, похожая на комок серого шёлка-сырца, садится на раскрытую книгу и оставляет на странице тончайшую блестящую пыль.

Пахнет дождём — нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек.

На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха — он поёт ещё далеко, у самой околицы.

Я иду в пустую баню, кипячу чай. На печке заводит свою песню сверчок. Он поёт очень громко и не обращает внимания ни на мои шаги, ни на звон чашек.

Светает. Я беру вёсла и иду к реке. Цепной пёс Дивный спит у калитки. Он бьёт хвостом по земле, но не подымает головы. Дивный давно привык к моим уходам на рассвете. Он только

зевает мне вслед и шумно вздыхает.

Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остаётся только безмолвие воды, зарослей, вековых ив.

Впереди — пустынный сентябрьский день. Впереди — затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье.

Бескорыстие

Можно ещё много написать о Мещёрском крае. Можно написать, что этот край очень богат лесами и торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами. Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она даёт обильные урожаи и природные её силы можно использовать для нашего благосостояния!

Не только за это мы любим родные места. Мы любим их ещё за то, что, даже небогатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещёрский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно.

На первый взгляд — это тихая и немудрая зем-

ля под неярким небом. Но чем больше узнаёшь её, тем всё больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придётся защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было, — этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь.

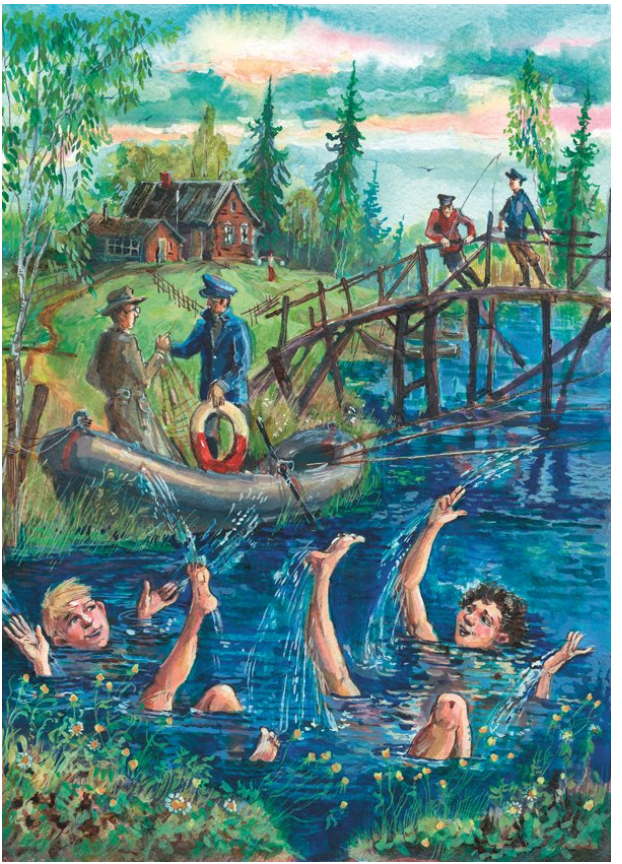
Резиновая лодка

Мы купили для рыбной ловли надувную резиновую лодку. Купили мы её ещё зимой в Москве и с тех пор не знали покоя. Больше всех волновался Рувим. Ему казалось, что за всю его жизнь не было такой затяжной и скучной весны, что снег нарочно тает очень медленно и что лето будет холодным и ненастным.

Рувим хватался за голову и жаловался на дурные сны. То ему снилось, что большая щука таскает его вместе с резиновой лодкой по озеру и лодка ныряет в воду и вылетает обратно с оглушительным бульканием; то снился пронзительный разбойничий свист — это из лодки, распоротой корягой, стремительно выходил воздух, и Рувим, спасаясь, суетливо плыл к берегу и держал в зубах коробку с папиросами.

Страхи прошли только летом, когда мы привезли лодку в деревню и испытали её на мелком месте, около Чёртова моста. Десятки мальчишек плавали около лодки, свистели, хохотали и ныряли, чтобы увидеть лодку снизу. Лодка спокойно покачивалась, серая и толстая, похожая на чере-

паху. Белый мохнатый щенок с чёрными ушами — Мурзик — лаял на неё с берега и рыл задними лапами песок. Это значило, что Мурзик разлаялся не меньше чем на час. Коровы на лугу подняли головы и все как по команде перестали жевать.



Бабы шли через Чёртов мост с кошёлками. Они увидели резиновую лодку, завизжали и заругались на нас.

— Ишь, шалые, что придумали! Народ зря мутится!

После испытания дед, по прозвищу «Десять про́центов», щупал лодку корявыми пальцами, нюхал её, ковырял, хлопал по надутым бортам и сказал с уважением:

— Воздуходувная вещь!

После этих слов лодка была признана всем населением деревни, а рыбаки нам даже завидовали.

Но страхи не прошли. У лодки появился новый враг — Мурзик. Мурзик был недогадлив, и потому с ним всегда случались несчастья: то его жалила оса, и он валялся с визгом по земле и мял траву, то ему отдавливали лапу, то он, воруя мёд, измазывал им мохнатую морду до самых ушей, к морде прилипали листья и куриный пух, — и нашему мальчику приходилось отмывать Мурзика тёплой водой. Но больше всего Мурзик изводил нас лаем и попытками сгрызть всё, что ему попадалось под руку. Лаял он преимущественно на непонятные вещи: на чёрного кота Степана, на самовар, примус и на ходики. Кот сидел на окне, тщательно мылся и делал вид, что не слышит

назойливого лая. Только одно ухо у него странно дрожало от ненависти и презрения к Мурзику. Иногда кот взглядывал на щенка скучающими наглыми глазами, как будто говорил Мурзику:

— Отвяжись, а то так тебя двину!..

Тогда Мурзик отскакивал и уже не лаял, а визжал, закрыв глаза. Кот поворачивался к Мурзику спиной и громко зевал. Всем своим видом он хотел унизить этого дурака, но Мурзик не унимался. Грыз Мурзик молча и долго. Изгрызенные и замусоленные вещи он всегда сносил в чулан, где мы их и находили. Так он сгрыз книжку стихов Веры Инбер, подтяжки Рувима и замечательный поплавок из иглы дикобраза — я купил его случайно за три рубля.

Наконец Мурзик добрался и до резиновой лодки. Он долго пытался ухватить её за борт, но лодка была очень туго надута, и зубы скользили. Ухватить было не за что. Тогда Мурзик полез в лодку и нашёл там единственную вещь, которую можно было сжевать, — резиновую пробку. Ею был заткнут клапан, выпускавший воздух. Мы в это время пили в саду чай и не подозревали ничего плохого. Мурзик лёг, зажал пробку между лапами и заворчал — пробка ему начинала нравиться. Он грыз её долго. Резина не поддавалась.

Только через час он её разгрыз, и тогда случилась совершенно страшная и невероятная вещь.

Густая струя воздуха с рёвом вырвалась из клапана, как вода из пожарного шланга, ударила в морду, подняла на Мурзике шерсть и подбросила его в воздух. Мурзик чихнул, взвизгнул и полетел в заросли крапивы, а лодка ещё долго свистела, рычала, и бока её тряслись и худели на глазах. Куры раскудахтались по всем соседским дворам, а чёрный кот промчался тяжёлым галопом через сад и прыгнул на берёзу. Оттуда он долго смотрел, как булькала странная лодка, выплёвывая толчками последний воздух.

После этого случая Мурзика наказали. Рувим нашлёпал его и привязал к забору. Мурзик извинялся. Завидев кого-нибудь из нас, он начинал подметать хвостом пыль около забора и виновато поглядывать в глаза. Но мы были непреклонны — хулиганская выходка требовала наказания.

Мы скоро ушли за двадцать километров, на Глухое озеро, но Мурзика не взяли. Когда мы уходили, он долго визжал и плакал на своей верёвке около забора. Нашему мальчику было жаль Мурзика, но он крепился.

На Глухом озере мы пробыли четыре дня. На третий день ночью я проснулся оттого, что кто-то

горячим и шершавым языком вылизывал мои щёки. Я поднял голову и при свете костра увидел мохнатую, мокрую от слёз Мурзикину морду. Он визжал от радости, но не забывал извиняться — всё время подметал хвостом сухую хвою по земле. На шее его болтался обрывок разгрызенной верёвки. Он дрожал, в шерсть его набился мусор, глаза покраснели от усталости и слёз.

Я разбудил всех. Мальчик засмеялся, потом заплакал и опять засмеялся. Мурзик подполз к Рувиму и лизнул его в пятку — в последний раз попросил прощения. Тогда Рувим раскупорил банку тушёной говядины — мы звали её «смакатурой» — и накормил Мурзика. Мурзик сглотал мясо в несколько секунд. Потом он лёг рядом с мальчиком, засунул морду к нему под мышку, вздохнул и засвистел носом. Мальчик укрыл Мурзика своим пальто. Во сне Мурзик тяжело вздыхал от усталости и потрясения.

Я думал о том, как, должно быть, страшно было такому маленькому щенку бежать через ночные леса, вынюхивая наши следы, сбиваться с пути, скулить, поджав лапу, слушать плач совы, треск веток и непонятный шум травы и, наконец, мчаться опрометью, прижав уши, когда где-то на самом краю земли слышался дрожащий вой

волка. Я понимал испуг и усталость Мурзика. Мне самому приходилось ночевать в лесу без товарищей, и я никогда не забуду первую свою ночь на Безыменном озере.

Был сентябрь. Ветер сбрасывал с берёз мокрые и пахучие листья. Я сидел у костра, и мне казалось, что кто-то стоит за спиной и тяжело смотрит в затылок. Потом в глубине зарослей я услышал явственный треск человеческих шагов по валежнику. Я встал и, повинуясь необъяснимому и внезапному страху, залил костёр, хотя и знал, что на десятки километров вокруг не было ни души. Я был совсем один в ночных лесах. Я просидел до рассвета у потухшего костра. В тумане, в осенней сырости над чёрной водой поднялась кровавая луна, и свет её казался мне зловещим и мёртвым.

Когда мы возвращались с Глухого озера, мы посадили Мурзика в резиновую лодку. Он сидел тихо, расставив лапы, искоса посматривал на клапан, вилял самым кончиком хвоста, но на всякий случай тихо ворчал. Он боялся, что клапан опять выкинет с ним какую-нибудь зверскую штуку. После этого случая Мурзик быстро привык к лодке и всегда спал в ней.

Однажды кот Степан залез в лодку и тоже ре-

шил там поспать. Мурзик храбро бросился на кота. Кот со страшным шипом, будто кто-нибудь плеснул воду на раскалённую сковороду с салом, вылетел из лодки и больше к ней не подходил, хотя ему иногда и очень хотелось поспать в ней. Кот только смотрел на лодку и Мурзика из зарослей лопухов завистливыми глазами.

Лодка дожила до конца лета. Она не лопнула и ни разу не напоролась на корягу. Рувим торжествовал. А Мурзика мы перед отъездом в Москву подарили нашему приятелю — Ване Малявину, внуку лесника с Урженского озера. Мурзик был деревенской собакой, и в Москве среди асфальта и грохота ему было бы трудно жить.

Струна

Осколок снаряда порвал струны на скрипке. Осталась только одна, последняя. Запасных струн у музыканта Егорова не было, достать их было негде, потому что дело происходило осенью 1941 года на осаждённом острове Эзеле в Балтийском море. Даже не на самом острове, а на небольшом его клочке — на косе Цераль, где советские моряки отбивали непрерывные атаки немцев.

Оборона этого полуострова войдёт в историю войны как одна из её величавых страниц. Он прославлен бесстрашием советских людей. Эти люди дрались до последней пули.

Налетали ветры, и неспокойно шумело море. Оно было блестящим и серым, как свежий разрез на свинце. Окончились северные летние ночи, но закаты, как всегда на Эзеле, медленно горели над водой, и сонно шумел сосновый лес, разросшийся на дюнах. Шум сосен не проникал в окопы. Его заглушали взрывы, свист бомб, визг мин и хватающий за сердце рёв бомбардировщиков.

Война застала на Эзеле нескольких советских актёров — мужчин и женщин. Днём мужчины

вместе с бойцами рыли окопы и отбивали немецкие атаки, а женщины перевязывали раненых и стирали бойцам бельё. А ночью, если не было боя, актёры устраивали концерты и спектакли на маленьких полянах в лесу.

«Хорошо, — скажете вы, — конечно, в темноте можно слушать пение или музыку (если актёры поют вполголоса, а музыканты играют под сурдинку, чтобы звуки не долетали до неприятеля), но непонятно, как актёры ухитрялись разыгрывать спектакли в ночном лесу, где мрак плотнее, чем в поле или над открытой водой. Что в этом мраке могли увидеть зрители? Музыканты привыкли играть в темноте, но как же другие актёры?»

А они показывали морякам сцены из Шекспира, Чехова и «Профессора Мамлока» Фридриха Вольфа.

Но война и отсутствие света по ночам создали свои традиции и выдумки. Как только начинался спектакль, зрители наводили на актёров узкие лучи карманных электрических фонариков. Лучи эти всё время перелетали, как маленькие огненные птицы, с одного лица на другое, в зависимости от того, кто из актёров в это время говорил. Но чаще всего лучи останавливались на

лице молоденькой актрисы Елагиной и подолгу замирали на нём, хотя Елагина и молчала. В её улыбке, в глазах каждый из моряков находил любимые черты, которые он давно, с первых дней войны, берёг в самом надёжном уголке сердца.

На Егорова зрители никогда не наводили лучи фонариков. Всегда он играл в темноте, и единственной точкой света, которую он часто видел перед собой, была большая звезда. Она лежала на краю моря, как забытый маяк. Её не могли погасить залпы тяжёлых батарей, не мог задушить жёлтый дым разрывов. Она сверкала, как напоминание о победе, неизменности мира, будущем покое, и, может быть, за это моряки и актёры полюбили эту звезду и прозвали её «подругой».

Струны на скрипке были порваны, и Егоров больше не мог играть. На первом же ночном концерте он сказал об этом невидимым зрителям. Неожиданно из лесной темноты чей-то молодой голос неуверенно ответил:

— А Паганини играл и на одной струне…

Паганини! Разве Егоров мог равняться с ним, с великим музыкантом!

Егоров медленно прижал скрипку к плечу. Большая звезда спокойно горела на краю залива. Свет её не мерцал, не переливался, как всегда.

Звезда как будто притихла и приготовилась слушать музыканта. Егоров поднял смычок. И неожиданно одна струна запела с такой же силой и нежностью, как могли бы петь все струны.

Тотчас вспыхнули электрические фонарики. Впервые их лучи ударили в лицо Егорова, и он закрыл глаза. Играть было легко, будто сухие, лёгкие пальцы Паганини водили смычком по изуродованной скрипке. Слеза сползла из-под закрытых век музыканта, и в коротком антракте войны, в глухом лесу, где пахло вереском и гарью, звенела и росла мелодия Чайковского, и от её томительного напева, казалось, разорвётся, не выдержит сердце.

Последняя струна действительно не выдержала силы звуков и порвалась. Она зажужжала, как шмель, и затихла. Сразу же свет фонариков перелетел с лица Егорова на скрипку. Скрипка замолчала надолго. И свет фонариков погас. Толпа слушателей только вздохнула. Аплодировать в лесу было нельзя — могли услышать немцы.

Я рассказываю подлинный случай. Поэтому напрасно читатель будет ждать ловко придуманной развязки. Она оказалась очень простой: Егоров умер. Он был убит через два дня во время ночного боя. Ему не на чем было играть, и он стал

обыкновенным бойцом обыкновенной пехотной части.

Его похоронили в грубой песчаной земле, когда накрапывал дождь, море затянулось туманом. На ветвях сидели мокрые синицы. Они уже привыкли к свисту пуль и только удивлённо попискивали, когда пуля ударяла в ствол дерева и с листьев сыпались брызги.

Скрипку Егорова бойцы положили в футляр, зашили в старое байковое одеяло и передали лётчику, улетавшему в Ленинград. Лётчик сразу же набрал высоту, чтобы уйти от немецких зениток. Десятки огней вспыхивали за хвостом самолёта.

В Ленинграде лётчик отнёс скрипку главному дирижёру Консерватории. Тот взял её двумя пальцами, взвесил в воздухе и улыбнулся, — это была итальянская скрипка, потерявшая вес от старости и многолетнего пения.

— Я передам её лучшему скрипачу нашего симфонического оркестра, — сказал лётчику дирижёр Консерватории.

Лётчик — простой белобрысый парень — кивнул головой и улыбнулся.

Где теперь эта скрипка — я не знаю. Говорят, что она в Москве. Но где бы она ни была, она играет прекрасные симфонии, знакомые нам и любимые

нами, как старое небо Европы, как слово Пушкина, Шекспира или Гейне. Она играет мелодии Чайковского, Шостаковича и Шапорина.

Звуки симфонии так могучи, что рождают ветер. Вы, должно быть, заметили, как он порывами налетает на вас со сцены, шевелит волосы, заставляет сердца слушателей дрожать от гордости за человека.

Поют сотни струн, поют гобои и трубы, — победа придёт! Потому что не может не победить наша страна, где люди идут в бой, унося в душе звуки скрипичных песен, где так просто умирают за будущее скромные музыканты и где созданы могучие симфонии, потрясающие мир.

Томик Пушкина

На выступе дома, под венецианским окном, пожилой букинист разложил свои книги и гравюры, изображающие старинные корабли и седых адмиралов.

Окно закрыто. Ветер перелистывает страницы книг. Тени от акаций перебегают по тротуару.

Букинист сидит на табурете и, надев очки, читает толстую растрёпанную книгу.

К букинисту подходит низенький усатый старик — дядя Федя. Он в матросском тельнике под рваным пиджаком. Через плечо у него перекинута на ремне винтовка. Дядя Федя держит двумя руками кепку, наполненную чем-то тяжёлым.

— Вот! — говорит он и встряхивает кепку. — Угощайся, Стёпа. Сладкая одесская абрикоса.

Букинист засовывает руку в кепку и отдёргивает её. Дядя Федя смеётся и высыпает из кепки к ногам букиниста кучу острых осколков.

— Имеешь богатый выбор, Стёпа, — говорит он. — Тут и наши, и немецкие, и румынские. А то, я замечаю, свежак задул с моря и покалечит все твои книги. Только, будь другом, положи на

Пушкина осколок нашего зенитного снаряда. А на другие книги вали что хочешь, потому что до других книг я равнодушный.

— Дурень ты, Федя, — говорит букинист и начинает класть осколки на раскрытые книги. Ветер тотчас перестаёт переворачивать страницы. — Хоть ты и тёртый боцман и помнишь восстание на «Потёмкине», а всё равно — дурень.

Дядя Федя не успевает ответить. Вой сирен. Удары зениток. Букинист и дядя Федя прижимаются к стене и смотрят вверх. С тяжёлым гулом идут немецкие самолёты.

Венецианское окно распахивается. В нём появляется обрюзгший небритый старик. Рубаха у него расстёгнута, подтяжки висят сзади. Старик высовывается из окна, сердито смотрит на самолёты и говорит сварливым голосом:

— Что? Опять! Каждый час эти босяцкие штуки!

Дядя Федя снимает кепку и почтительно кланяется раздражительному старику:

— Доброго здоровья, товарищ Файнштейн. Как спали?

Свист. Все наклоняются. Взрыв поблизости.

— Не угадал, — говорит дядя Федя. Целил в будку для зельтерской, а попал, видать, в гальюн на

портовом спуске.

— Ты бы помолчал, Федя, — говорит букинист.

— Я сейчас в карауле стоял на Пересыпи, так я шесть часов молчал, как тумба, — отвечает дядя Федя. — Эх-хе-хе, нету, видать, у вас пациентов, товарищ Файнштейн!

— Какие сейчас пациенты у зубного врача, я вас спрашиваю! — сердится Файнштейн. — Только идиот…

Свист. Все наклоняются. Взрыв.

— …Только идиот, — продолжает Файнштейн, — захочет пломбировать зубы при такой ситуации. И какой чудак, говоря мягко, будет покупать при этой же ситуации ваши книги, уважаемый Степан Петрович?

— Ну, нет, — возражает дядя Федя. — Который настоящий боец, тот любимую книгу сбережёт до последнего часа.

К книжному развалу подбегает высокая девушка. Ветер треплет её волосы.

— Здравствуйте, Степан Петрович, — приветливо говорит она букинисту, берёт томик Пушкина и начинает торопливо перелистывать его.

Свист. Все наклоняются. Взрыв, но уже отдалённый.

— Страница шестьдесят седьмая! — кричит

девушке букинист. — Вы помните? Или вы забыли?

— Помню, — отвечает девушка, находит шестьдесят седьмую страницу и незаметно достаёт из книги вложенную туда записку. Читает её застенчиво и радостно.

— Спасибо, Степан Петрович, — говорит она, смутившись до слёз. — Я тороплюсь к себе на радио. Прощайте.

Девушка быстро прячет в книгу взамен взятой записки запечатанный конверт и уходит. Оборачивается и говорит умоляющим голосом:

— Только не продайте по ошибке эту книгу, Степан Петрович. Слышите?

— Вы мне уже пять раз об этом говорили, — ворчливо отвечает букинист.

Девушка убегает.

— Ну, дела! — вздыхает дядя Федя. — Теперь, надо думать, в скорости сюда заскочит за этим письмом молодой лейтенант со сторожевого катера. Устроили себе из Пушкина почтовый ящик! А почему? Потому что осада и свидеться им никак не фартит.

— Откуда ты всё это знаешь? — спрашивает букинист.

— А ты, своим порядком, знаешь, что такое

боцманский глаз? — спрашивает дядя Федя. — И чтоб ему, этому глазу, не увидеть, какая с твоим Пушкиным заварилась история?

— Ты бы помолчал, Федя, — просит букинист.

— В могиле я помолчу.

— И я, знаете, тоже смотрю из окна и кое-что замечаю, — говорит Файнштейн. — У него, я вам скажу, совсем неплохой вкус, у этого молодого лейтенанта.

Файнштейн закрывает окно и задёргивает его занавеской.

По тротуару проходят вооружённые краснофлотцы в касках, с гранатами у пояса. Двое из них останавливаются около букиниста и рассматривают книги.

— На Фонтане фронт держите? — спрашивает Федя.

— А хотя бы и на Фонтане, — отвечает высокий краснофлотец с дыней в руках.

— На трамвае на фронт ездите?

— Очень свободно, что и на трамвае.

— Удобство, — замечает дядя Федя. — Ни в одном городе бойцы на трамвае на фронт в окопы не ездят, только у нас в Одессе. Наш город знаменитый, весёлый город. А отвечать ты мне должен без всяких фиглей-миглей, без всяких «хотя».

Отвечать должен по форме и с уважением. Ты, видать, морячок, ещё серый, а я — бывший боцман сверхсрочной службы Ковальчук.

— Приятно познакомиться.

— Я с Матюшенкой за руку держался, и сам советский адмирал Жуков в случае чего всегда призывает меня к себе и спрашивает: «Ты как, дядя Федя, располагаешь: соответствует это моё мероприятие духу нашего доблестного флота или не очень оно ему соответствует?»

— Ну уж это конечно, — насмешливо говорит высокий краснофлотец. — Адмирал без вас как без головы. Это уж точно.

— Эх ты, — с досадой говорит дядя Федя. — Салага — и есть салага. Если бы не геройство твоё, да не то, что ты, видать, справный боец, сказал бы я тебе крепкое приморское слово.

— А вы скажите, папаша, — с наигранной ласковостью отвечает краснофлотец. — Я не обижусь. Я к старикам имею снисхождение.

— Нужно мне твоё снисхождение, как кошке поклон, — сердится дядя Федя.

Пока дядя Федя препирается с высоким краснофлотцем, второй, низенький краснофлотец берёт с развала томик Пушкина и перелистывает его. Букинист, занятый ссорой, не замечает этого.

— Сколько стоит Пушкин? — спрашивает низенький краснофлотец, но букинист не отвечает.

Дядя Федя и высокий краснофлотец смотрят друг на друга и качают головами.

— Эх ты! Шваброй тебя мало тёрли.

— Эх вы, папаша!

К книжному развалу быстро подходит молодой моряк-лейтенант. Файнштейн отодвигает занавеску и смотрит через стекло на лейтенанта.

— Что здесь у вас происходит? — спрашивает лейтенант.

— Да, так… ничего… — уклончиво отвечает дядя Федя. — Разговор про то да про сё. Обыкновенный разговор.

Лейтенант улыбается, ищет на развале какую-то книгу и не находит.

— Я помню, что у вас был томик Пушкина, — смущённо говорит лейтенант. — Неужели продали?

— Не может этого быть! — встревоженно отвечает букинист, встаёт, роется в книгах и замечает томик Пушкина в руках у краснофлотца. Отбирает у него книжку и строго говорит:

— Эта книга не продажная, молодой человек. Хотите стихи — так возьмите Багрицкого. Тоже был хороший поэт.

— Багрицкого я насквозь знаю, — отвечает краснофлотец. — Эх, всё равно, давайте!

Резкий звонок трамвая. Низенький торопливо расплачивается, и оба краснофлотца бегут по тротуару к трамваю.

Дядя Федя бросается вслед за высоким краснофлотцем.

— Стой! — кричит он. — Стой, браток!

Краснофлотец останавливается. Дядя Федя протягивает ему руку.

— Старайся, салажонок, чтобы черноморцы тебя не стыдились. Вертайся здоровый.

Трамвай отходит. На нём гроздьями висят вооружённые люди. Дядя Федя возвращается.

Букинист протягивает лейтенанту томик Пушкина и таинственно говорит:

— Шестьдесят седьмая страница. Самую малость опоздали, товарищ лейтенант.

Лейтенант смущённо кивает, раскрывает книгу и достаёт конверт. Прячет письмо в карман кителя. Дядя Федя подходит к лейтенанту и просительно снимает шапку.

— Уважьте старого боцмана, товарищ лейтенант.

— А что?

— Возьмите добровольцем на катер. Тридцать

лет плавал, засолился, как тарань. Не береговой я, товарищ лейтенант.

— Я поговорю с командиром соединения. Завтра я буду здесь к вечеру и дам вам ответ. Я думаю, что он согласится.

— Рад стараться, товарищ лейтенант.

— Сколько вам лет?

— Шестьдесят, а может и все шестьдесят три.

— Многовато, — говорит лейтенант. — Трудно придётся, боцман. Завтра мы идём на рискованное дело. От него будет зависеть судьба сотен наших моряков.

— На лиман подадимся? — хитро спрашивает дядя Федя и подмигивает лейтенанту.

— Узнаете.

— Виноват, товарищ лейтенант.

Лейтенант козыряет и уходит.

— За лиманом немцы окружили наших морячков, — таинственно говорит дядя Федя. — Это мне известно. И такая у меня думка, что пойдём мы их выручать. Эх, Стёпа, давно у меня палуба не качалась под ногами!

Файнштейн открывает окно, высовывается.

— Я, знаете, — говорит он, — удивляюсь на современную молодёжь. Книгу за пазуху — и в бой. Мне это начинает нравиться. И ещё я вам скажу:

всё-таки неплохой вкус у этой милой девушки. Что это? Опять?

Нарастающий свист. Файнштейн прячется, захлопывает окно. Тяжёлый взрыв. Сыплются стёкла. Мимо букиниста бегут санитары со свёрнутыми носилками.

— Дальнобойный, — говорит дядя Федя. — За углом рванул, гад. Ты бы, Стёпа, закрыл свою лавочку.

— Что ты, Федя! — пугается букинист. — Сам видишь, что иному бойцу книга нужна, как письмо от невесты. А ты говоришь — закрыть. Что ты, Федя!

Дядя Федя не отвечает. Он пятится к стене и стаскивает с головы кепку. Мимо окон санитары проносят носилки. На них лежит светловолосая девушка.

— Она! — говорит дядя Федя, бросается к санитарам и хватает одного из них за руку. — Раненая? — спрашивает он быстрым шёпотом.

— Нет, не раненая, — отвечает санитар. — Убитая.

Санитары проходят.

— Убитая, — тихо повторяет дядя Федя и смотрит на букиниста. — Значит, она была здесь поблизости, Стёпа?

Букинист сидит сгорбившись и не отвечает.

— Стёпа, ты слышишь, Стёпа?

Дядя Федя бросает кепку на тротуар.

— Не смотрел бы я ни на это море, ни на солнце, Стёпа. Любила, значит, девушка — и нет её. Как ветром сдуло, Стёпа.

Букинист судорожно начинает поправлять галстук. Руки у него трясутся.

— А лейтенант? — кричит дядя Федя. — Что же будет с человеком, Стёпа?

— Ничего я не знаю, Федя, — бормочет букинист и никак не может поправить галстук. — Ты бы немного помолчал.

— Пошли до Файнштейна, — решительно говорит дядя Федя и стучит винтовкой в окно. — Пошли посоветуемся.

* * *

Комната Файнштейна. Файнштейн сидит на кровати, уставившись в пол. Букинист стоит, сгорбившись, у стола. Дядя Федя ходит по комнате и делает множество движений, выдающих его растерянность, — переворачивает пустой стакан на столе вверх дном, обрывает листья у фикуса, зажигает и гасит спички.

— Плохой выбор у смерти, я вам скажу, — гово-

рит Файнштейн. — Вот сидит старый зубной врач без пациентов. Так осколок летит как раз мимо него и убивает красивую девушку. Вы знаете, на что она была похожа? На ветку с цветами, забрызганную росой. Да. Так сказал один наш одесский писатель о любимой женщине. Только я забыл фамилию этого писателя, дай ему бог жить и жить. Он таки неплохо сказал.

— Что же делать? — спрашивает букинист. — Завтра вечером придёт лейтенант, а на странице шестьдесят седьмой будет пусто. Что я ему скажу? Что я ему могу сказать, когда у меня руки трясутся.

— Узнает лейтенант, — говорит дядя Федя, — душа у него ссохнет. Какой с него тогда будет командир? Ослабнуть может человек. — Дядя Федя стучит прикладом о пол. — И пойдёт он на рискованное дело с разворошённым сердцем, и очень свободно, что проиграет он это дело и через то погибнут сотни морячков. Не могу я этого допустить.

— Вы безответственно шумите! — говорит Файнштейн. — Оно так и будет, как вы предсказали. Закон жизни. И вы ничего не сможете сделать.

— Я, прямо сказать, много врал, — тихо говорит

дядя Федя. — Отпираться не буду. Понятно, без надобности врал, только для интересу. А теперь пришло время, чтобы соврать мне ещё раз для спасения морячков и для доблестной нашей победы.

— И чего вы только хотите? — спрашивает Файнштейн. — Я не понимаю.

— А хочу я, дорогой товарищ Файнштейн, чтобы написали мы письмо от этой девушки, как от живой, тому лейтенанту. Письмо про большую её любовь. И заложили в Пушкина на шестьдесят седьмую страницу. Придёт он завтра, прочтёт и пойдёт в бой со светлым сердцем. И победит безусловно. А потом судите меня за обман военным трибуналом. Я — весь тут. Я ответ буду нести перед всей Одессой. И оправдает меня трибунал, и лейтенант простит, и она бы простила, если бы могла про это знать. Сказала бы: «Спасибо вам за это, дядя Федя».

Голос дяди Феди дрожит.

— А знаете, — говорит Файнштейн, — вы таки молодец, товарищ Ковальчук.

— Совсем ты не дурень, Фёдор, — соглашается букинист.

— Так давайте писать. Берите ручку, бумагу.

— Ой, трудное дело! — вздыхает Файнштейн. —

Что я могу написать про любовь, когда я всю жизнь возился с кариозными зубами. Лучше взять книгу с полки, потому что в каждой книге есть про любовь, и списать оттуда.

Файнштейн подходит к полке, берёт книгу, пробегает несколько страниц.

— Вот! Это будет как раз. Диктуйте мне, Степан Петрович.

Файнштейн даёт книгу букинисту, отчёркивает ногтем нужное место и садится за стол.

Букинист диктует:

— «Я думаю о тебе с такой огромной нежностью и любовью, что у меня замирает сердце. Будь спокоен. Если найдётся время, то взгляни завтра в полдень на облака над морем и подумай, что я тоже в эту минуту смотрю на них, и, может быть, тебе станет хорошо от сознания, что наши взгляды встретились, хотя мы далеко друг от друга. Прощай, родной мой».

— Вот! — говорит букинист.

— Как её звали? — спрашивает Файнштейн.

— Не знаю, — отвечает букинист. — Не надо подписи. Она же могла забыть подписаться.

* * *

Сумерки. Сгорбившийся букинист сидит на табурете. В комнате, у окна, облокотившись на подоконник, стоит Файнштейн. Дядя Федя чистит винтовку. К книжному развалу подходит мальчик с двумя лопатами, жадно смотрит на гравюры кораблей.

— Нравится? — спрашивает дядя Федя.

— Нравится, — шёпотом отвечает мальчик.

— Купить не осилишь?

— Не осилю, — также шёпотом отвечает мальчик.

— А куда же это ты, пацанчик, топаешь с двумя лопатами?

— На Ближние Мельницы. Рыть окопы.

Мальчик не отрываясь смотрит на одну из гравюр. На ней изображён красавец линейный корабль с андреевским флагом. Корабль идёт на всех парусах по штормовому морю. Букинист берёт гравюру, протягивает мальчику.

— На, бери. За лопату.

— А зачем вам лопата? Вы же старенький.

— Я тоже буду копать этой ночью рвы против танков. Бери.

Мальчик хватает гравюру, оставляет одну из

лопат и, прижав гравюру к груди, убегает.

Внезапно Файнштейн отшатывается и захлопывает окно. Букинист делает вид, будто он что-то потерял, и шарит руками по земле около своего табурета. Дядя Федя встаёт. К книжному развалу подходит лейтенант.

— Пойдёте со мной на корабль, — говорит он дяде Феде. — Командир соединения согласен.

— Покорнейше благодарю, товарищ лейтенант! — хрипло отвечает дядя Федя.

Лейтенант подходит к книгам, берёт томик Пушкина, раскрывает его, достаёт записку, отходит в сторону и разворачивает её. Букинист втягивает голову в плечи. Файнштейн отходит от окна в глубину комнаты. Дядя Федя пристально следит за лейтенантом.

— Как быстро темнеет, — говорит про себя лейтенант и оглядывается.

Вой сирены. Гул самолётов. В густом сумраке, усиленном тенью акаций, загорается ослепительная ракета, сброшенная с немецкого самолёта. Она медленно опускается. Лейтенант жадно читает записку при свете ракеты. Выражение необычайной радости появляется у него на лице.

— Прочитали? — спрашивает дядя Федя.

— Да, прочитал, — смущённо отвечает лейте-

нант. — А что?

— Да так, ничего! — отвечает дядя Федя. Прикладывается из винтовки и стреляет в ракету. Ракета гаснет.

Лейтенант смеётся и берёт дядю Федю за плечи.

— Чудесно! — говорит он. — С таким стрелком, как вы, мы выиграем операцию.

— Если у командира сердце счастливое, всегда бывает удача, — отвечает дядя Федя. — Есть у меня такая думка, что весело у вас на душе, товарищ лейтенант.

— Да, пожалуй, — соглашается лейтенант. — Как вы догадались?

— Боцманский глаз — он всё видит, товарищ лейтенант.

— Ну что ж, пойдёмте — говорит лейтенант, быстро прячет в книгу ответную записку, кладёт книгу на место, прощается с букинистом и уходит.

Дядя Федя крепко трясёт руку букинисту, машет Файнштейну и уходит вслед за лейтенантом.

Файнштейн открывает окно.

— Я, знаете, — говорит он букинисту, — удивляюсь на современных стариков. Очень удивляюсь. Это мне даже нравится.

Букинист молчит и складывает книги. Руки его дрожат.

* * *

Радиорубка. Темнота. Слабым накалом горят лампочки на приборах. За открытым окном шумит и вздыхает море. В нём мигают, как зарницы, вспышки орудийного огня. Доносятся тяжёлые залпы.

К окну кто-то подходит, закрывает его, спускает плотную штору и включает свет. Это — высокая девушка, та, что приходила за письмом к букинисту. Она садится к микрофону и говорит:

— Слушайте! Слушайте! Говорит осаждённая Одесса. Этой ночью наш морской десант под командой лейтенанта Бахметьева… — Девушка на мгновенье умолкает, прикрывает глаза ладонью и, улыбаясь, повторяет: — …Лейтенанта Бахметьева высадился в тылу у немецких частей, окруживших два дня назад подразделение наших моряков, и нанёс внезапный удар по немецким частям. Освобождённые моряки совместно с десантом опрокинули после короткой и ожесточённой схватки немецкие и румынские части и преследовали их километра два. Взяты большие

трофеи и пленные. Во время боя особенно отличился доброволец, бывший боцман броненосца «Ростислав» товарищ Ковальчук.

Девушка замолкает, выключает микрофон, снова закрывает ладонью глаза и говорит:

— Он жив, жив, жив.

* * *

Девушка быстро идёт по ночным грозным улицам Одессы. Шумят под ветром акации. Тёмные валы баррикад. Далёкие зарева. Гулкие взрывы.

Девушка подходит к окну, под которым всегда сидит букинист. Светает. Окно закрыто. Девушка садится на выступ стены, кутается в лёгкий платок и неподвижно смотрит вдаль. Глаза её сияют. Она часто взглядывает на часы на руке.

— Как далеко до рассвета, — говорит она, хотя косое солнце уже освещает вершины акаций.

Занавеска в окне отдёргивается. Заспанный Файнштейн открывает окно, садится на подоконник и закуривает.

— Одесса, Одесса! — говорит он в пространство. — Сколько здесь моря, сколько солнца и сколько храбрых людей.

Девушка подымает голову.

— Милый город, — говорит она.

Файнштейн замечает её, вскрикивает, отшатывается, потом высовывается в окно и говорит свистящим шёпотом:

— Послушайте, вас же убили. Они умрут от разрыва сердца, если вас увидят. Что же теперь делать, я не понимаю. Спрячьтесь пока у меня.

Девушка встаёт и с недоумевающей улыбкой смотрит на Файнштейна.

* * *

Букинист раскладывает книги. Подходит усталый, запылённый дядя Федя, здоровается, садится под стеной, ставит между ног винтовку.

— Накрутили мы, Стёпа, немцам хвост, — говорит он. — Слыхал радио? Да всё одно, — радости у меня нету. Сейчас лейтенант сюда придёт, кинется к Пушкину, а там пусто.

— Да, пусто, — говорит букинист.

Распахивается окно. В нём появляется Файнштейн.

— Привет, молодые люди, — говорит он развязным тоном. — Тысячу приветов в это прелестное утро!

Букинист и дядя Федя с изумлением смотрят на Файнштейна. Файнштейн поёт надтреснутым голосом:

Сквозь ночной туман
Мрачен океан.
Мичман Джонс угрюм и озабочен…

— Вы, послушайте, как это, — осторожно говорит дядя Федя, — вы пьяный, что ли? Что за фигли-мигли, когда у людей балласт на душе. Распиликался, как птичка на ветке. Сейчас лейтенант сюда придёт, так я посмотрю, что вы ему скажете.

— Я, знаете, ему ничего не скажу, — отвечает Файнштейн. — Он поймёт меня и без слов.

Дядя Федя качает головой.

— До чего у вашей профессии слабые нервы. Слетели вы с катушек, товарищ Файнштейн. А отчего? От тех паршивых немецких бомб, что ли?

К букинисту подходит лейтенант.

— Ну, как мой Пушкин? — спрашивает он.

Букинист начинает судорожно распаковывать одну из книжных пачек. Дядя Федя стоит помертвевший. Файнштейн смотрит на лейтенанта и смеётся.

— Замолчи, подлый ты человек! — шипит на него дядя Федя.

Файнштейн делает какие-то знаки в глубину комнаты. Там мелькает тень девушки. Тотчас

хлопает парадная дверь, и девушка, смеясь, бросается к лейтенанту, протягивает ему руки и с ослепительной улыбкой смотрит ему в глаза. Дядя Федя в ужасе пятится, хрипло вскрикивает, шарахается в сторону, но девушка крепко берёт его за руку. Букинист роняет книгу. На лице его выражение смущения и радости.

— Я всё знаю, — говорит девушка, — спасибо, дядя Федя. Спасибо вам, и Степану Петровичу, и товарищу Файнштейну. Если бы я действительно умерла, вы бы не могли поступить лучше.

— Вот, понимаешь, — смущённо бормочет дядя Федя, вытирает рукавом пот со лба и хихикает, — какая получилась петрушка. Видать, что я обознался, когда дальнобойный рванул за углом.

— А всё хвалишься — боцманский глаз да боцманский глаз! — насмешливо говорит букинист.

* * *

Под тем же окном букинист торопливо обрывает у книг переплёты и складывает книги кучей на тротуаре. Букинисту помогает дядя Федя. Файнштейн в пальто и старомодном канотье высовывается из окна и протягивает букинисту тёмную бутылку.

— Вот керосин, — говорит он. — Спички есть?

— Есть.

— Эх, Стёпа, — бормочет дядя Федя, — покидаем мы с тобой Одессу. Душа у меня спеклась от горя. И лучше бы я руки себе сжёг, чем эти великолепные книги.

— Ничего я немцам не оставлю, ни одной строчки, — говорит букинист. — Ночи я не спал, берёг эти книги, читал их… Нету лучшего счастья, Федя, как с книгами сдружиться с самых малых лет. Не было у меня ни жены, ни детей, Федя, ни любимой женщины, а были вот эти друзья. Всё равно что я друзей своих убиваю. Да что говорить, Федя!

Отдалённые крики пароходных сирен.

— Пора, — говорит дядя Федя. — Транспорта скоро отваливают. Пора, Степан. Весь город уже пустой.

Букинист трясущимися руками поджигает груду книг.

Выходит Файнштейн. Книги горят. Букинист снимает шапку и плачет. Дядя Федя и Файнштейн молча смотрят на пламя.

— Ну, пошли, — говорит наконец дядя Федя. — Значит, Стёпа, ты ни одной книги не сберёг. Со всеми попрощался.

— Нет, — отвечает букинист. — Одну книгу я с собой взял. И будь другом, Федя, ежели убьют

меня или я умру, похорони меня с той книгой в руках. Вот с этой книгой, Федя.

Букинист достаёт из-под пальто томик Пушкина.

— Была эта книга помощницей редкой любви и геройства, — говорит букинист. — Дороже она мне всего на свете.

— А интересно, — говорит дядя Федя, — что там на этой самой шестьдесят седьмой странице? Прочитай напоследок, Стёпа.

Букинист раскрывает книгу и читает:

Как друга ропот заунывный,

Как зов его в прощальный час,

Твой грустный шум, твой шум призывный

Услышал я в последний раз.

— Вот, — говорит печально дядя Федя, — какие слова. Жалко мне Чёрного моря, и весёлой Одессы, и вольного воздуха. Сказать не могу, как жалко. Быть не может, чтобы отгудели наши пароходы, Стёпа.

— Ещё как загудят, дорогой товарищ Ковальчук, — говорит Файнштейн. — Дайте время.

— Будет тебе, Федя, — говорит букинист, — и Чёрное море, и Одесса, и вольный воздух. Потер-

пи. Вернётся к нам родная земля.

Букинист, дядя Федя и Файнштейн медленно уходят.

На тротуаре догорают книги.

